

Айрис МЕРДОК

Женский взгляд

ВРЕМЯ АНГЕЛОВ

Любить можно только ангела. Но ангелы общаются с пропащими душами

РОМАН



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФОЛИО»

Время ангелов
Айрис Мердок

Аннотация
Айрис Мердок. Время ангелов
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20

Глава 21
Глава 22
Глава 23
Глава 24

Аннотация

«Время ангелов» — это история вины, искушения и разрушительных страстей, которые разворачиваются в стенах готического особняка старой Англии.

Человеческая душа стремится к познанию вечности. Но этот путь и это познание порой непосильны для человека, жить праведно и счастливо до последнего вздоха абсолютно невозможно, и тогда начинается трагедия, хаос поглощает героев, а на смену любви приходит смерть.

Айрис Мердок
Время ангелов

Глава 1

— Пэтти.

— Да.

— Ты разожгла огонь в комнате мисс Элизабет?

— Да.

— Так холодно.

— Что вы сказали?

— Холодно.

— Да.

Пэтти протягивает свои пухлые руки, темно-коричневые, чуть темнее капуччино, и неловкими, окоченевшими от холода пальцами роется в углях по ту сторону узкой решетки. Грязно-белый хлопчатобумажный халат с небрежно подвернутыми рукавами, надеваемый обычно поверх свитера и юбки, расцвечен красными земляничинами. Цветастая капроновая косынка, не очень чистая, придерживает ее черные как смоль волосы.

— Пэтти-зверушка.

— Да.

— Что это за странный непрерывный шум?

— Подземная дорога; она проходит прямо под

домом.

— Подземная дорога. Любопытно, привыкнем ли мы к ней?

Пэтти сминает страницы свежего номера «Таймс» и сверху, крест-накрест, кладет щепочки. На щепочки она водружает ржавый, утративший форму кусок угля.

— Представим себе, что это паук, да, Пэтти? Спасем его. Вот так. Можно поджечь?

Спичка вспыхивает, обнаруживая на измятой странице изображение каких-то чернокожих людей, мучающих таких же, как и они сами, чернокожих. Бумага занимается. Пэтти вздыхает, отклоняется на пятках назад, и от этого петля ползет по ее чулку подобно маленькой ящерице.

— И мышеловки. Ты ведь не забываешь о них, Пэтти? Я уверен, что видел у себя в спальне мышь.

— Не забываю.

Щепочки, потрескивая, обрушиваются в ад пылающей бумаги. Пэтти вынимает из пыльного ведерка тускло поблескивающие кусочки угля и бросает их за решетку. Тепло от горящей бумаги согревает ей лицо.

— И еще, Пэтти.

— Да.

— Говори моему брату Маркусу, когда он звонит, что я не принимаю. Всем, кто звонит, говори, что я не принимаю.

— Да.

Спасенный паук прекращает свою притворную смерть и исчезает под ведерком для угля.

— Ужасно темно здесь, внутри. Туман как будто проникает в дом.

— Да, здесь темно.

— Патюшечка, я хочу молока.

— Молока нет. Я могу занять у привратника.

— Ну что ты, не надо. Ведь ты не перетруждаешься, нет, сладенькая Пэтти?

— Кому-то надо обо всем этом беспокоиться.

Черная сутана скользит по ее обтянутому чулком колену, холодный палец щекочет согнутую шею. Шаги удаляются, и сутана шуршит о ступени. Не оборачиваясь, Пэтти встает на ноги.

Огромные застекленные книжные полки, еще не установленные на свои места в новом доме, тянутся по диагонали через зал, где Пэтти разжигает огонь. Пол завален книгами, о которые Пэтти, отступая, спотыкается. Задев *«Sein und Zeit»*[1], она теряет тапок и в сердцах пинает *«Sein*

---

[1] Примечания: 1

Книга немецкого философа Мартина Хайдеггера (1884–1976) «Бытие и время» (1927).

und Zeit» озябшей ногой. С обувью у Пэтти всякий раз случается недоразумение: стоит ей купить туфли, как они тут же становятся ей велики. Сверху доносятся чуть слышно звуки музыки. «Лебединое озеро». На секунду Пэтти чувствует себя легкой, как перышко. Пэтти видит балет, где-то там внизу белые фигурки движутся подобно живым цветам. «Но я теперь поправилась, — тут же вспоминает она. — Я теперь толстуха».

Колокольчик у двери звонит тревожным, незнакомым звоном. Пэтти отворяет дверь, но лишь чуть-чуть. Она не отворяет как следует, потому что, хотя в доме холодно, снаружи еще холоднее. Туман мгновенно начинает проникать внутрь, и Пэтти кашляет. В желтоватом тумане наступающих сумерек она с трудом различает стоящую на тротуаре даму средних лет. У нее широко расставленные красивые глаза. Пряди влажных волос, выбившись из-под элегантной меховой шляпы, прилипли к щекам. Пэтти завистливо рассматривает и оценивает пальто из персидской ламы. Дама слегка притопывает, чтобы согреться. Замшевые ботинки оставляют четкие следы на покрытых инеем булыжниках. И голос такой… да-а-мочкин. Но Пэтти ничего другого и не ожидала услышать. Это — враг.

— Ужасно неловко вас беспокоить. Моя фамилия Барлоу. Я из пастората. Могу ли я повидать священника?

— Боюсь, что сегодня священник никого не примет.

— Я всего лишь на минуту. Дело в том…

— Жаль, но мы только что переехали и очень много работы. Загляните позднее.

Пэтти закрывает дверь. В туманном пространстве зала юноша необыкновенной красоты и, скорее всего, двадцати весен от роду идет, точнее, скользит по полу. Его коротко подстриженные волосы того же цвета, который Пэтти, по дамским журналам, стала называть цветом «давленой клубники». Юноша озирается, с любопытством начинает рассматривать книги, видит Пэтти и шмыгает под лестницу, в направлении кухни. Пэтти, подозревающая, что все молодые люди над ней подсмеиваются, с неодобрением отмечает, что туфли у юнца остроносые.

А вон и еще один враг явился.

— Пэтти.

— Слушаю, мисс Мюриэль.

— Что за прелестный юноша тут промелькнул?

— Сын привратника.

— Вот как, у нас есть привратник? А как его имя?

— Не знаю. Какое-то иностранное. Разжечь камин в вашей комнате?

— Нет, не беспокойся. Я пойду к Элизабет. Телефон звонит. Ответь, Пэтти. Если меня, то меня нет.

В трубке слышится мужской голос, дрожащий и извиняющийся.

— Алло. Я — Маркус Фишер. Я хотел бы поговорить с моим братом.

— К сожалению, священник не принимает.

— А нельзя ли переговорить с Элизабет?

— Мисс Элизабет никогда не подходит к телефону.

— Тогда, возможно, я мог бы поговорить с Мюриэль?

— Мюриэль здесь нет.

— Когда бы я мог повидаться со священником?

— Не знаю.

— С кем же я говорю?

— Мисс О'Дрисколл.

— О, так это Пэтти. Простите, что не узнал ваш голос. Пожалуй, перезвоню позднее.

— Всего доброго, мистер Фишер.

Темная фигура на верху лестницы что-то одоб-

рительно бормочет, бумажная стрела пронзает воздух, задевает халат Пэтти чуть выше сердца и падает у ее ног. Не глядя вверх, Пэтти разглаживает смятый конверт, чтобы отправить его в огонь. И тут она замечает отпечатанный на нем новый адрес: *Пасторская квартира, Сен Юстис Уотергейт, Лондон, Е.С.* Ей все еще не верится, что она в Лондоне.

Мягкий голос сверху напевает: *«Frere Jacques, Frere Jacques, dormes-vous?»*[2]; из отворившейся на секунду двери долетает тихий всплеск «Лебединого озера». Поезд проносится под землей, и все сотрясается в доме, душа Пэтти содрогается от мгновенной мысли о смерти. Она бормочет стишок, заменяющий ей молитву, заменяющий убогую разрушившуюся магию ее детства:

> *Не озирайся. Назад не смотри.*
>
> *Звездная твердь, берег морской даны тебе до зари.*

Она идет в кухню, где юноша с волосами цвета «давленой клубники» ждет ее, чтобы проводить к отцу.

В комнате привратника Пэтти вскоре начинает

---

[2] Примечания: 2
Брат Жак, брат Жак, вы спите? *(франц.)*

чувствовать себя совсем другим человеком. Юноша, которого зовут Лео, уходит, а привратник, чье имя звучит так странно, что Пэтти никак не может его запомнить, протягивает ей огромную чашку чая. У привратника, по внешности, несомненно, иностранца, мягкое, печальное лицо, напоминающее какое-то животное, и густые вислые ржаво-коричневые усы. Пэтти нравятся мужчины, похожие на животных, поэтому она симпатизирует привратнику, но это еще и потому, что он наверняка не насмехается над ней.

Привратник объясняет ей, как устроена обогревательная система дома, за которой он присматривает. Система эта сложная, и Пэтти подозревает, что именно благодаря этой сложности обогревается как сама котельная, так и комната привратника, и больше ничего. Пэтти осматривает жилище привратника. Бетонные стены похожи на стены бомбоубежища. В комнате стоит необычный запах. «Это пахнет ладаном», — предполагает Пэтти, хотя прежде ей ни разу не доводилось слышать, как пахнет ладан. В нише расположено странное двухъярусное сооружение из железа — нижняя полка приспособлена под лежанку, а верхняя, покрытая доской, служит подставкой для удивительной картины. Такой

картины Пэтти в жизни еще не видала. Она написана на дереве, отчасти, наверное, золотой краской, настоящим золотом, думает Пэтти, иначе не горела бы ну прямо как огонь. На картине изображены три ангела, беседующие вокруг стола. Небольшие головы ангелов окружены крупными бледными нимбами, на их лицах тревожно-задумчивое выражение.

— Что это? — спрашивает Пэтти.

— Икона.

— А что такое икона?

— Просто религиозная картина.

— А кто эти люди?

— Святая Троица.

Привратник говорит «Святая Троица», а не просто «Троица». Поэтому Пэтти догадывается, что он вериг в Бога. На душе у нее становится хорошо и спокойно. Бог — смутная, но важная часть жизни Пэтти, и она утешается, когда другие верят в Него.

— Назовите свое имя. Я никак не могу его запомнить.

— Евгений Пешков.

— Это иностранное имя, да? Кто вы?

— Я — русский, — с гордостью отвечает он. — А кто вы?

Она понимает его вопрос, но ответить на него невозможно.

— Я — Пэтти О’Дрисколл.

Глава 2

— Что вы собираетесь предпринимать в отношении вашего брата?

— Не знаю. А надо что-то предпринимать?

Маркус Фишер стоял спиной к теплой, приветливо освещенной комнате, глядя сквозь щель между шторами. Туман сгустил тьму и слегка окрасил ее собственной ржавой желтизной, как будто сам был источником света. Доносящийся сюда звук корабельной сирены звучал приглушенно в сыром воздухе. Маркус с удовлетворением задернул шторы и повернулся к пылающему очагу.

Нора Шедокс-Браун, затянутая в твид, склонилась над чайным столиком.

Подобно всем тем, для кого единственной заботой является забота о других, она до средних лет сохранила моложавость, хотя ее прямые волосы уже посеребрила седина. Круг света падал на скатерть из плотного ирландского льна, на белизне которой поблескивали золотистые трилистники. Огромный, как головка сыра, разрезанный на дольки вишневый торт обнаруживал свое кремо-

вое нутро, утыканное сочными вишенками — и это Маркус отметил с удовольствием — до самого верха. Румяные лепешки млели под тяжестью масла. Сливовый джем, названный его изготовителем «сливовой приправой», чтобы намекнуть на изысканность кушанья, а значит, и продать подороже, маслянистой горкой возвышался на блюде из уотерфордского стекла. Чашки только что наполнили, и острый свежий аромат индийского чая поманил Маркуса к столу. Он сел.

— Просто я опасаюсь, что возникнет некий скандал. Это может повредить девочкам.

— Я не понимаю, что вы подразумеваете, — сказал Маркус. — Безусловно, Карл ужасно эксцентричен, но на прежнем месте все шло хорошо. Почему же здесь должно что-то произойти? Кстати, это немного похоже на синекуру.

— Вот именно! Я подозреваю, что иерархия сыта по горло выходками вашего брата и решила послать его туда, где он будет наиболее безвреден!

— Но что это за должность такая — настоятель несуществующей церкви? Ведь от церкви ничего не осталось, кроме башни.

— Только башня. Остальное разрушила бомба.

Ужасная потеря. Рен[3]. Вы же знаете. А это его лучшее творение.

— Теперь и вся местность вокруг выглядит, как после бомбежки. Я там побывал как раз перед приездом Карла. Около дома сплошные руины.

— Да, там хотели развернуть строительство, и вокруг этого поднялся невероятный шум, было столько писем в «Таймс».

— Строительство небоскребов?

— Да. Решение отменили в последний момент.

— *Solitudinem fecerunt*[4], понимаю. Так что, там сейчас ничего нет, кроме дома священника и башни? Никакой церкви поблизости?

— Никакой. Кажется, есть какой-то церковный зал, но он не освящен. Я придерживаюсь мнения, что все зависит от пастора. Он может либо делать очень много, либо ничего не делать. Вы помните, нет, пожалуй, вы не можете помнить прежнего тамошнего пастора, странного человека, калеку. Он, кажется, никогда ничего не делал. А в том зале, по всей видимости, готовятся устроить прибежище для трудных подростков. Я повстречала

---

[3] Примечания: 3
Рен Кристофер (1632–1723) — знаменитый английский архитектор.

[4] Примечания: 4
Пустыню создают *(лат.)*.

в *Оксфам офис*[5] довольно странную особу, по фамилии Барлоу, и она мне обо всем рассказала. Мне кажется, она видит себя королевой на этом странном троне, просто бредит этим местом. Не секрет, что собой представляют современные городские церкви. Лекции и концерты, а по воскресеньям дверь на замке. Это как раз то, что нужно Карлу! Он может взвалить все на плечи миссис Барлоу.

— О чем же тогда беспокоиться? — поинтересовался Маркус, накладывая себе сливовой приправы.

— Да о том, что он никогда не угомонится. Ему нравится устраивать скандалы. Вам прекрасно известно, какой он неуравновешенный.

Маркус пожал плечами. В своих чувствах Нора была прямолинейна, и понять сложный внутренний мир Карла ей было не по силам. По ее мнению, все эти тонкости служили лишь прикрытием.

— Посмотрите, как он уклоняется от встречи с вами и даже не позволяет вам увидеться с Элизабет. В конце концов, вы оба были назначены опекунами после смерти ее отца. А он вам нико-

---

[5] Примечания: 5
Оксфордский комитет по защите женщин.

гда не давал и рта раскрыть.

Карл был старшим братом Маркуса. Джулиан, отец Элизабет и младший брат Маркуса, умер от таинственной болезни много лет назад, когда Маркус путешествовал по Соединенным Штатам. И Карл вел себя так, словно он был единственным опекуном ребенка.

— Я бы сформулировал иначе, — сказал Маркус. — Это отчасти и моя вина. Мне следовало с самого начала расставить все точки над «i».

— Вы боитесь Карла, вот в чем беда.

Боялся ли он? Родители Маркуса умерли, когда он был еще школьником. И Карл, став в шестнадцать лет главой семьи, странным образом напоминал ему отца. Джулиан, младший и всегда несколько отчужденный, был для старших братьев предметом заботы. Но Карл был источником силы.

— Мы были очень счастливы в детстве, — невнятно выговорил Маркус. Рот у него был наполнен лепешками и джемом.

— Похоже, между вами пробежала черная кошка.

— Нет, просто мы повзрослели. И потом, была девушка. И вообще… разное было.

— Так что же натворила эта девушка?

— О, множество хлопот. Это была страстная натура, влюбленная во всех троих, а мы все были влюблены в нее. Я спасся бегством в Америку. Карл и Джулиан тогда уже были женаты.

— Нелепость какая-то.

— Да. Она и была нелепой, но ужасно милой. Я вспоминаю о ней с улыбкой. Странно, я забыл ее внешность. Она была членом коммунистической партии. Это все было невообразимо давно.

Маркус утаил от Норы, насколько глубоко обеспокоил его неожиданный приезд Карла. Церковный приход в Мидленде казался таким далеким. Доходили слухи о странных выходках пастора. Маркус нанес туда два кратких визита и, очевидно, его встретили холодно. Минуло несколько лет с тех пор, как он последний раз видел брата и Элизабет.

— Сколько лет теперь Мюриэль? — спросила Нора, подливая чай. — Позвольте, ей должно быть двадцать четыре?

— Полагаю, что так.

Мюриэль была дочерью Карла, единственным его ребенком.

— А сколько Элизабет?

— Девятнадцать.

Девятнадцать! Он знал это. Он много думал об

Элизабет. Он ясно помнил ее загадочным ребенком лет двенадцати или около того. У нее было продолговатое, бледное, задумчивое лицо и светлые, почти белые, струящиеся по плечам волосы. В ней чувствовалась упрямая взрослость ребенка, сознательно выбравшего для себя одиночество, выбравшего сиротство. Конечно, она была немного диковата, с мальчишескими ухватками. Но ведь ни она, ни Мюриэль не наслаждались долго материнской заботой. Две миссис Фишер, Шейла и Клара, родили по ребенку и вскоре умерли. Их образы, теперь как бы слившиеся воедино, парили на заднем плане, печальные и бледные призраки, все еще связанные для холостяка Маркуса с божественным и таинственным предназначением — жёны братьев.

— Элизабет теперь, наверное, очень красива, — сказал Маркус, расправляясь с кусочком торта. Пусть из малодушия он никогда не претендовал на свои опекунские права, но все еще чувствовал странное волнение, охватившее его после смерти Джулиана: он вдруг стал как бы отцом хорошенького и умного ребенка. Карл вскоре похитил маленькую женщину, но она заняла место в самых потаенных мечтаниях Маркуса. Когда она была ребенком, он постоянно писал ей

письма и привык связывать с ней некое смутное, теплое предчувствие будущего. Элизабет была как бы оставлена им на потом, она была кем-то, чей час еще только должен наступить. Теперь он вновь ощутил этот старинный трепет невинного обладания, смешанный с еще более древним чувством — страха перед старшим братом.

— Болезнь могла испортить ее внешность, — заметила Нора. — Там какой-то наследственный дефект. Я не удивлюсь, если она умрет молодой, как и ее отец.

Нора, чье стремление к добру оборачивалось иногда суждениями ужасающе бездушными, никогда не любила Элизабет. «Хитрая маленькая русалка», — так она называла ее.

— Но как бы там ни было, вам следует все же больше интересоваться ее здоровьем.

Приблизительно четыре года назад у Элизабет развилась болезнь позвоночника, обычно именуемая «смещение диска». Болезнь не поддавалась лечению. Теперь Элизабет носила хирургический корсет и должна была, как требовали врачи, «избегать волнений».

— Вы совершенно правы, — сказал Маркус. Он начинал чувствовать особую боль, рождаемую потребностью видеть Элизабет и усиливающу-

юся с приближением этой встречи. Она дремала в нем все это время и теперь — проснулась. С чувством невольной вины, приводившим его в изумление, он созерцал собственное столь долгое отступничество.

— Затем вопрос о ее образовании, — продолжала Нора. — Что вам известно об этом?

— Я знаю, что Карл учил ее латыни и греческому одновременно.

— Я всегда была противницей домашнего образования. Оно слишком сентиментально. Учить должны профессионалы. Кроме того, школьная жизнь пошла бы девочке на пользу. Мне говорили, что она почти все свое время проводит в комнате. Это очень вредно. При заболеваниях такого рода люди должны делать над собой усилие и сами себя обслуживать. Отсутствие движения — хуже быть не может.

Нора, отставная учительница, верила в универсальную силу самостоятельности.

— Да, она, должно быть, очень одинока, — сказал Маркус. — Хорошо, что с ней рядом Мюриэль.

— И это тоже не очень хорошо. Эти девушки слишком много времени проводят вместе.

Cousinase dansereux voisinase[6].

— Решительно не понимаю, что вы имеете в виду.

— Я имею в виду, что это — нездоровое общение. Им надо больше видеться с молодыми людьми.

— Я не ослышался? Вы прописываете в качестве лекарства молодых людей, моя дорогая Нора? В самом деле, у меня всегда складывалось впечатление, что им не слишком хорошо вместе.

— Элизабет испорчена. Боюсь, что и Мюриэль изменилась к худшему. Ей бы следовало поступить в университет и найти себе подходящую работу.

— В этом Карл не виноват, — сказал Маркус. Он недолюбливал старшую племянницу. В ней была какая-то язвительность, которая его настораживала. Он подозревал, что она насмехается над ним. Зато Мюриэль была любимицей Норы и даже какое-то время, благодаря стараниям Маркуса, училась в школе, где та преподавала. Будучи чрезвычайно способной ученицей, она все же не захотела поступать в университет, что не составило бы ей труда, и занялась, к возмущению Норы, машинописью. Маркус считал, что Нора

---

[6] Примечания: 6

Двоюродное родство — опасное соседство *(франц.)*.

немного переоценивает способности Мюриэль. Может, она слишком горячо любит Мюриэль?

Маркус, сам занимавший должность директора маленькой частной школы в Хертфордшире, познакомился с Норой в ходе своих служебных дел. Он ей симпатизировал, восхищался ею. И только недавно начал с тревогой осознавать, что с ней все не так просто. Женщина кипучей энергии, Нора из-за своего здоровья вынуждена была уйти на пенсию. Она поселилась в доме, довольно ветхом, XVIII века, в восточном Лондоне. Конечно, она сразу же отыскала себе много занятий, слишком много, по мнению ее врача. Она работала безвозмездно в местном совете, состояла членом рабочих комитетов, домовых комитетов, образовательных комитетов, опекала стариков, заключенных, малолетних правонарушителей. Но казалось, ей все еще мало, и она не вполне удовлетворена. Энергия, которую прежде поглощала школа, теперь оказалась невостребованной. Раньше, отмечал Маркус, в ней не было этой сентиментальности, плохо сочетающейся с ее прежним обликом энергичного трезвомыслящего педагога; в ней появилось что-то неуклюжее, что-то трогательное, даже жалкое. Она стала с большей пылкостью заботиться о своих бывших

учениках и с еще большей пылкостью — он заметил это с чувством некоторого беспокойства — о нем. А совсем недавно она сделала пугающее и неловкое предложение — чтобы он переехал в пустующую квартиру в верхнем этаже ее дома. Маркус ответил уклончиво.

— С тревогой думаю, что Мюриэль — типичная представительница молодого поколения, — продолжала Нора. — По крайней мере, типичная представительница наиболее смышленой части молодого поколения. Она от природы наделена сильной волей и высокими принципами. Из нее должен сформироваться достойный член общества. Но все идет как-то не так. Она еще не нашла своего места в обществе. Создается впечатление, что именно ее незаурядность и толкает ее к аморализму. Этому вопросу вы обязательно должны уделить место в своей книге.

Маркус взял отпуск в школе на два семестра, чтобы заняться сочинением книги, о которой размышлял долгое время. Это должен был быть философский трактат на тему морали в светскую эпоху. Он надеялся, что книга не останется незамеченной. Она будет написана лаконичным стилем, но очень броско и уверенно, и должна своей риторикой и эпиграмматичностью напо-

минать «Рождение трагедии из духа музыки» Ницше.

— Я понимаю вашу мысль относительно Мюриэль, — сказал он. — Я замечаю это и в других одаренных молодых людях. Как только они начинают размышлять о морали, в них тут же появляется дух изощренного имморализма.

— Конечно, это не всегда приводит к серьезным проступкам. Правонарушение имеет иные корни, обычно в семье. Этот сын Пешкова, на мой взгляд, натуральный правонарушитель, если только вы не против, что я так отзываюсь о вашем бывшем ученике. В случае с ним…

Нора продолжала излагать свою точку зрения на предмет правонарушений, а Маркус вздыхал про себя. Маркус вздыхал не потому, что его утомили рассуждения Норы. Просто он не любил, когда ему напоминали о Лео Пешкове. Лео был неудачей Маркуса. В ходе своих служебных дел Нора обнаружила Пешковых, отца и сына, в какой-то грязной дыре, из которой помогла им выбраться сначала в церковный приют, а потом, при посредничестве епископа, в их нынешнее жилище в пасторском доме. Они поселились как раз перед прибытием того странного пастора, инвалида, о котором уже шла речь. Лео, в то время

школьник, посещал не совсем хорошую местную школу, и Нора попросила Маркуса принять мальчика к себе. Маркус и Нора платили за учение Лео, но Пешковы об этом не знали.

В школе Лео выбрал для себя роль своенравного умника и играл ее так умело, что Маркус, опытный педагог, не мог с ним справиться. Маркус был сведущ в самопознании и знал наиболее смелые гипотезы современной психологии. Терпимый к себе, он хорошо сознавал ту тонкую и важную роль, которую играет в правильном формировании учителя некоторый природный садизм. Маркус знал, насколько он сам является садистом, понимал механизм действия этого садизма и был вполне уверен в своей компетентности. Он был хорошим учителем и хорошим директором. Но садизм, который в естественной неразберихе человеческих отношений остается внутри рациональных пределов, может за эти пределы выйти, как только рядом окажется хороший партнер.

Лео оказался прекрасным партнером. Его особый, лукаво-дерзкий мазохизм подходил как нельзя лучше темпераменту Маркуса. Маркус наказывал его, а он приходил за новой порцией. Маркус взывал к его лучшим чувствам и пытался третировать, как взрослого. Слишком много про-

тиворечивых чувств было между ними. Маркус был доверчив и ласков. Лео был груб. Маркуса охватывал слепой гнев. Лео, гений смуты, переживал грозу. Маркус надеялся, что он поступит в университет изучать французский и русский. Но Лео в последний момент, при потворстве учителя математики, к которому Маркус в отчаянии начал относиться как к сопернику, поступил в технический колледж в Лейчестершире, на инженерное отделение. Доходили вести, что он учится неважно.

— Это все следствие разрушения христианства, — говорила Нора. — Не подумайте, что я против исчезновения его со сцены, но все произошло иначе, чем мы представляли в молодости. Прежде чем мы уберем всю эту чушь из нашей системы, атмосфера «гибели богов» успеет свести с ума многих.

— Меня вот что волнует. А действительно ли мы хотим, чтобы все это ушло из нашей системы? — спросил Маркус, прогоняя образ злополучного юноши. Свойственную Норе, радикальной фа-

бианке[7], неуступчивую рационалистичность он находил несколько устаревшей. Чисто рациональный мир, за который она боролась, так и не был построен, и ей никогда не удавалось примириться с существующим миром, более запутанным, но подлинным. Маркус, разделявший многие ее убеждения, не мог победить в себе чувство очарованности тем, что она называла атмосферой «гибели богов». Неужели это случится — громадный занавес, сотканный из тумана и тайн, наконец поднимется? И что же обнаружится по ту сторону? Маркус не был верующим, но он считал себя, как иногда формулировал, поклонником христианства. Его любимым чтением была теология. А в более молодые годы он чувствовал неясную, окрашенную чувством вины радость от того, что его брат — священник.

— Да, хотим, — сказала Нора. — Плохо, что вы просто попутчик христианства. С умирающей мифологией опасно заигрывать. Все эти истории попросту фальшивы, и чем чаще об этом будут напоминать, тем лучше.

---

[7] Примечания: 7

«Фабианское общество» (по имени римского полководца Фабия Максима) — организация английской буржуазной интеллигенции, пропагандирующая реформистские идеи постепенного преобразования капиталистического общества в социалистическое путем реформ.

Они спорили об этом и прежде. Чувствуя себя вялым, не склонным аргументировать, Маркус с грустью понял, что чай уже выпит. Вытирая пальцы жесткой льняной салфеткой, он повернулся к огню.

— Хорошо, — еле слышно произнес он, — я завтра пойду, увижусь с Карлом и буду настаивать на свидании с Элизабет.

— Правильно. И не уходите, не получив ответа. В конце концов, вы уже звонили туда три раза. Я могу даже пойти с вами. Я давно не видела Мюриэль, а мне хотелось бы с ней поговорить откровенно. Если с Элизабет и в самом деле неладно, я считаю, вы должны привлечь общественное мнение. Не в том смысле, что ваш брат должен быть лишен сана и подвергнут освидетельствованию, но его следует принудить вести себя более разумно. Пожалуй, я побеседую с епископом, мы часто встречаемся на заседаниях административного совета.

Нора поднялась и начала убирать тарелки, теперь усыпанные золотистыми крошками, измазанные джемом. Маркус грел руки у огня. В комнате стало прохладно.

— Ходят странные слухи, — сказала Нора, — что у Карла якобы роман с этой цветной служанкой.

— Пэтти? Но это абсурд.

— Почему же, помилуйте, абсурд?

— Она такая толстая, — хихикнул Маркус.

— Не ерничайте. Признаюсь, не могу называть ее мисс О'Дрисколл, ведь она черна, как ваша шляпа.

— Пэтти вовсе не так черна. И не в этом дело.

Маркус слышал сплетни, но не верил. Это не в духе Карла, человека строгих, даже пуританских взглядов. Тут Маркус мог ручаться за брата, как за самого себя. Он поднялся со стула.

— О, Маркус, неужели вы собираетесь уходить? Почему бы вам не остаться на ночь? До Эрл Коурт путь неблизкий, а на улице такой ужасный туман.

— Надо идти. Много работы, — пробормотал он.

Десять минут спустя он уже шагал по обледеневшему тротуару, и его одинокие шаги звучали гулко внутри тяжкого колокола тумана. Он успел позабыть о Норе. Вместо этого в нем проклюнулся теплый росток радости — предчувствие скорой встречи с Элизабет.

Глава 3

— Мне так неудобно вас беспокоить. Меня зовут Антея Барлоу. Я из пастората. Я хотела бы увидеть священника, всего на несколько минут.

— Извините, но священник в настоящий момент не принимает.

— В таком случае, нельзя ли оставить записку? Понимаете, мне действительно…

— В настоящее время священник не принимает никакой корреспонденции. Попробуйте зайти позднее.

И Пэтти накрепко закрыла дверь перед просительницей, которая еле слышно что-то говорила еще из тумана. Она была суровым стражем. Привыкшая к подобного рода сценам, она забывала о них уже через несколько минут. Откуда-то сверху до нее донесся едва слышный звук колокольчика. Именно так Элизабет привыкла звать Мюриэль. Найдя туфлю, утерянную при переходе через зал, Пэтти зашлепала по направлению к кухне.

Пэтти волновалась и тревожилась. Доносившийся сюда шум подземки заставлял ее то и дело вздрагивать днем и проникал в сновидения

ночью. Со времени их переезда туман еще не рассеялся, и она до сих пор толком не знала, как выглядит дом пастора снаружи. Похоже, он не имел никакой наружности, а напоминал, скорее, невообразимую круговую вселенную, о которой Пэтти читала в воскресных газетах, поглощающую пространство и превращающую его в свою собственную субстанцию. Выйдя на второй день после приезда на улицу, она с удивлением обнаружила, что поблизости нет никаких строений. Туман гудел непрерывным таинственным гулом, и ничего нельзя было разглядеть, кроме маленького пятачка тротуара, на котором она стояла, и поросшего инеем красного кирпичного фасада пасторского дома. Боковая стена дома была сделана из бетона. Раньше, до бомбежки, к ней примыкало какое-то другое здание. Одетой в перчатку рукой Пэтти коснулась угла, где бетон встречался с камнем, и различила справа нечто, возвышающееся в тумане. Она знала, что это башня, построенная Кристофером Реном. Вглядевшись, она обнаружила отворенную дверь и окно, еле видные в темно— желтом тумане.

Пройдя еще немного, она оказалась на пустыре. Домов вокруг не было, только совершенно плоская поверхность замерзшей слякоти, через

которую проходила дорога. Повсюду возвышались маленькие холмики, покрытые замерзшим брезентом. Эта картина напоминала огромную строительную площадку, но совершенно заброшенную. Пэтти сошла с тротуара. Маленькие чашечки льда и замерзшие растения, похожие под своими ледяными крышечками на викторианский орнамент, захрустели у нее под ногами. Напуганная одиночеством, боясь заблудиться, она торопливо пошла к дому, словно к убежищу. По дороге ей никто не встретился.

Вопрос покупок все еще оставался нерешенным. Хождение за покупками было для Пэтти привычным делом, основной формой ее связи с миром. Никоим образом не организованный и не систематизированный, это был ежедневный ритуал. Броситься опять за чем-то позабытым — считалось маленьким деловым удовольствием. Без этого она чувствовала себя не в своей тарелке. Но сейчас этого естественного для нее передвижения она была лишена. Поблизости от пасторского дома, кажется, не было никаких магазинов, и еще не нашелся поставщик. Она доверяла Евгению Пешкову, который исчезал в тумане каждое утро, унося с собой список, составленный ею, и возвращался с тем, что она заказала. Вид этого крупного

мужчины, доброжелательно улыбающегося ей, с кучей свертков в каждой руке, действовал на нее очень ободряюще. Только теперь ей приходилось быть более деловитой и тщательно проверять, все ли она включила в список. Потребности семьи были скромными, можно сказать, почти спартанскими. Карл был вегетарианцем, довольствовался тертой морковью, яйцами, сыром и сухарями из непросеянной муки. Питался он, по собственной воле, одним и тем же. Сама Пэтти предпочитала бобы, гренки и сосиски. Что едят Мюриэль и Элизабет, она не знала. Элизабет сердилась, когда Пэтти заходила к ней в комнату; девушки, следуя давней традиции, готовили себе сами на газовой горелке. Это был еще один знак их обособленности от всей семьи.

Пэтти родилась тридцать лет назад на чердаке маленького домика в невзрачном промышленном городке в центре Англии. Мать Пэтти, мисс О'Дрисколл, не так уж горячо жаждала ее появления на свет. Мисс О'Дрисколл, прибывшая в этот мир при сходных обстоятельствах, по крайней мере знала, что ее отец был рабочим в Ливерпуле, а дед со стороны матери — крестьянином из Тирона, графства в Северной Ирландии. Мисс О'Дрисколл была протестанткой. Кто же был

отцом Пэтти? Об этом заинтересованно судачили в течение всей беременности мисс О'Дрисколл (кстати, не первой). Появление на свет младенца кофейного цвета в определенном смысле разрешило загадку отцовства. Мисс О'Дрисколл припоминала какого-то ямайца. Но как его зовут, она, из-за своего пристрастия к рюмочке, вспомнить так и не смогла. А посему о рождении Пэтти он так и не узнал, и, когда Пэтти пребывала еще игрой возможностей в утробе матери, отбыл в Лондон с намерением найти работу на подземке.

Очень скоро Пэтти потребовалась «забота и защита». Мисс О'Дрисколл была невероятно чувствительной матерью, но далеко не надежной. Она уронила несколько обычных, как и положено в подобных случаях, слез и вздохнула с облегчением, когда крохотное шоколадное существо забрали у нее и определили в сиротский дом. Время от времени она навешала Пэтти, роняла слезы и учила ее быть хорошей девочкой. Иногда мисс О'Дрисколл ощущала, что будет спасена, и когда подобного рода блажь находила на нее, впадала в пылкие дискуссии в воротах сиротского дома и даже разражалась религиозными песнопениями. Но вот однажды, в очередной раз забеременев, она перестала приходить и вскоре умерла от

воспаления брюшины вместе с новорожденным братом Пэтти.

В свои детские годы Пэтти страдала непрерывно и просто не научилась считать страдания некоей болезнью. К ней не были особенно жестоки, ее не били, на нее даже не кричали. Хлопотливые женщины ведали ее нуждами, расстегивая и застегивая ее одежки, когда она была еще совсем маленькой, снабжая гигиеническими прокладками и весьма упрощенной информацией о половой жизни, когда она стала старше. Хотя соображала она очень медленно, учителя проявляли к ней терпение. Ее сочли умственно отсталой и перевели в другую школу, где учителя опять же проявили к ней много терпения. Конечно, другие дети дразнили ее, потому что она была «черная», но не более. Обычно они старались ее не замечать.

С тех пор как человек в униформе забрал ее из объятий рыдающей пьяными слезами мисс О'Дрисколл, никто не относился к ней с любовью. Никто не притрагивался к ней, не смотрел на нее с тем пристальным вниманием, которое дарит только любовь. Среди массы детей она боролась за то, чтобы ее заметили, поднимая свои маленькие коричневые ручонки, словно тонула,

но глаза взрослых лишь равнодушно скользили по ней. Ее не вылизали, как вылизывает своих малышей медведица-мать, ей не придали форму. Пэтти была бесформенна. Ее мать, и это правда, хоть как-то выражала свою любовь, обнимая свое дитя, и эти животные объятия взрослая Пэтти вспоминала с какой-то непостижимой горькой благодарностью. Она хранила этот обрывочек, который даже нельзя было назвать памятью, около сердца, и вечерами молилась за свою умершую мать, веря, что хотя ее грех был так велик, кровь Агнца окажется спасительной, как надеялась на то мисс О'Дрисколл.

И, конечно, Бог любил Пэтти. Хлопотливые женщины очень рано приучили ее к этой мысли, между делом — а дел у них всегда было невпроворот — обращая ее к Богу. Бог любил ее неиссякаемой властной любовью, и Пэтти в ответ, конечно, любила Бога. Но эта взаимная страсть не мешала горю преследовать ее так неотступно, что она дошла почти до грани душевной болезни. Позднее какая-то благодетельная сила накинула покров забвения на эти годы. Повзрослев, Пэтти уже с трудом вспоминала свое детство.

В четырнадцать лет, едва умея читать и писать, она ушла из школы и, поскольку была неспособна

к дальнейшему учению, нанялась в служанки. Ее первые хозяева оказались продолжением ее учителей. Просвещенные, либерально мыслящие люди, которые, как замечала поумневшая Пэтти, ее несчастье необъяснимым образом неизменно превращали в свою жизнерадостность. Фактически они немало хорошего сделали для нее. Они научили ее жить в доме, они внушали ей, что она не тупица, они даже подсовывали ей книжки. И были очень добры к ней. Но главный урок, который она извлекла из их доброты, был такой: цветным многое запрещено. В детстве она не понимала разницы между несчастьем быть цветной и несчастьем быть Пэтти. Позднее она поняла свою обособленность. Ее хозяева обращались с ней по-особому, потому что она была цветная.

Теперь Пэтти начала ощущать свой цвет, ощущать как какую-то накипь на коже. Она постоянно читала это во взглядах других. Она протягивала перед собой руки, такие непроглядно коричневые, с более светлыми ладонями, сероватыми пальцами, на которых ногти имели чуть красноватый оттенок. Она смотрела с любопытством, почти с изумлением, в зеркало на свое круглое плоское лицо, на свой большегубый рот, обнажающий в улыбке все тридцать

два белоснежных зуба. Она крутила пальцем завитки своих очень жестких черных волос, выпрямляя их и наблюдая, как они опять превращаются в спиральки. Она завидовала индианкам, которых иногда встречала на улице, гордым, нежным, с украшениями в ушах и носу. Ей хотелось бы с такой же гордостью носить свою национальность. И тут она понимала, что у нее нет национальности. Что она просто… цветная. И когда она увидела надпись на стене «ЦВЕТНЫЕ, УБИРАЙТЕСЬ ДОМОЙ!», то восприняла это так страстно, как причастие в церкви, которую посещала по воскресеньям. Иногда она думала о Ямайке, представляющейся ей в виде сцены из цветного фильма: мягкая музыка, колышутся верхушки пальм, волны накатывают на берег. Ведь Пэтти никогда не видела моря.

Конечно, в городе были и другие цветные. Пэтти стала замечать их и острым глазом оценивать черты и различные оттенки кожи. Теперь для нее существовали как бы только две расы: черная и белая. Не все полукровки были так темны, как она; ее отец, наверняка, был очень черен, раз сумел передать столько черноты своей полуирландской дочери. Пэтти размышляла над этими отличиями, не ставя перед собой какой-либо

цели. Она не чувствовала никакого смысла в объединении с другими цветными, даже когда те явно стремились к этому. Белизна как бы объединяла всех белых в единое целое, а чернота, наоборот, загоняла каждого цветного в клеточку его собственного оттенка. Ясное осознание этого одиночества было первым взрослым чувством Пэтти. Она припоминала строчку небольшого стихотворения, взволновавшего ее еще в школе: «Я черный, но, поймите, душа моя бела». И Пэтти решила: если ее душа бела, значит, она проклята. Если у нее и в самом деле есть душа и душа эта имеет цвет, значит, она должна быть густо-коричневая, чуть темнее капуччино. Она отыскала-таки в себе маленький осколочек гордости, нечто, что она пронесла, завернутое в лоскуток любви, который бедная мисс О'Дрисколл, сама того не ведая, оставила своей дочурке. Пэтти начала думать.

Она теперь бегло читала, занимаясь в своей комнате по вечерам. Она осилила кучу любовных романов, включая и те, которые именовались классическими; она от корки до корки прочитывала дамские журналы; читала кое-какие стихи и даже записывала наиболее ей понравившиеся в черную тетрадку. Ей нравились стихи, напоми-

навшие своей мелодичностью песни, заклинания или детские стишки, отрывки из которых можно напевать себе под нос. Спартанские женщины сидели на омываемых морскими волнами камнях, расчесывая волосы. И Пэтти чувствовала, что она знает все, что надо знать о спартанских женщинах. Мир искусства оставался для нее собранием фрагментов, сменяющимся калейдоскопом узоров, рождающим красоту, почти лишенную формы. Она собирала отрывочки из стихотворений, мелодий, какие-то лица на картинах. *Laughing Cavaliers, Blue Boys*[8], с трудом различимые, с радостью узнаваемые, легко забываемые. У нее не было представлений, существующих отдельно от переживаний. Что касается картины мира, то протестантская церковь обеспечила ей эти представления. Смотри, кровь Христа струится в небесах. Идея искупления, неясная, но каким-то образом для нее бесконечно живая, пребывала в ней как особого рода утешение. Все идет неправильно, никогда не исправится, и все же мир не так ужасен, как нередко кажется.

Все это время Пэтти вела пугающе одинокую жизнь. Она даже не задумывалась над тем, чтобы

---

[8] Примечания: 8
Названия музыкальных групп. *(Примеч. переводчика.)*

найти компанию. И когда хозяева пытались надоумить ее пойти в клуб, она в ужасе отмахивалась от этой идеи. Ей исполнилось шестнадцать. Она красилась и выполняла многочисленные советы журналов, постоянно ходила в парикмахерскую выпрямлять волосы, но все это проделывала исключительно для себя. Чернокожие мужчины посматривали на нее украдкой с тоскливой враждебностью, которую она понимала. Белые мужчины того типа, который был ей отвратителен, свистели ей вслед на улице. И вот однажды ее добрые либеральные хозяева сообщили ей, что собираются в Лондон. Служанка им больше не требовалась, но они снабдили Пэтти прекрасными рекомендациями. Агентство по найму предложило ей место в доме священника, недалеко от города, и Пэтти отворила дверь в жизнь Карла Фишера.

Когда Пэтти появилась в доме, Элизабет было шесть, а Мюриэль одиннадцать. Родители Элизабет уже умерли, но Клара, жена Карла, еще была жива. Пэтти не помнила, беседовала ли с ней Клара. Потом ей уже казалось, что встречал ее именно Карл, как будто длинная рука протянулась из двери и обласкала ее прежде, чем она переступила порог. Она предстала перед Карлом,

как предстают перед Богом, и, подобно обретшей благословение душе, осознала свое блаженство не через что-то ясно увиденное, а, скорее, посредством ощущения, что тело ее восславлено. Карл тут же коснулся ее, он обласкал, он возлюбил ее. Пэтти, изумленная, едва могла отличить одно от другого. Карл забрал ее к себе с великодушной естественностью и смирил ее прикосновением, как смиряют обычно животных. Пэтти расцвела. Божественные руки Карла превратили и ее в богиню, чье тело светилось пурпуром, торжествующую, словно Парвати при приближении Шивы. Почти целый год Пэтти смеялась и пела. Она любила обитателей этого дома, особенно Элизабет, и принимала их естественно, как собственность своего творца. Она была внимательна к детям и послушна Кларе. Но то, что творило дом и делало его бесконечным, как башни Илиона, что конструировало полую золотую вселенную, всю звенящую радостью, было — сладостная привязанность Карла, его быстрые прикосновения к ее руке, когда он говорил с ней, его пальцы, касающиеся ее шеи, его руки на ее волосах, его шлепки, то, как он сжимал ее запястье, как шутливо похлопывал по щеке. Пэтти чувствовала, что счастью ее не будет конца. И потом, все с

такой же прекрасной естественностью, Карл взял ее в постель.

То, каким образом о случившемся стало мгновенно известно домашним, Пэтти так никогда и не узнала. Но все вокруг вдруг стало мрачно, как будто окуталось тьмой, густой и несмываемой, как цвет ее кожи. Дети узнали об этом им одним ведомым способом и замкнулись в безжалостном детском молчании. Отношение Клары внешне изменилось мало, но по сути стало абсолютно иным. Никто ничего не сказал, но приговор был вынесен. Пэтти металась по дому в поисках утешения, объяснения, просто открытого взгляда, но не находила снисхождения. С этого момента ее мир опустел. В нем остался только Карл.

Пэтти настолько была удивлена случившимся, так смущена своим новым опытом и так напугана последствиями, что не сразу поняла: Карл и в самом деле любит ее. Когда она осознала это, невероятное счастье переполнило ее, темное, диковинное счастье, не похожее на прежнюю невинную радость, намного сильнее. Тьма проникла в нее, как рой ос. Пэтти окрепла и отбросила жалость. Она подняла свой крест и встала перед домашними, отныне готовая быть их врагом. Она чувствовала вину, но приняла ее

отважно, как знак призвания.

Требовала ли Клара объяснений от мужа? Пэтти об этом не довелось узнать. Она не дерзнула спросить Карла, молчание которого обо всем, что касалось семьи, было вежливым, но неумолимым. Карл изъявлял свои чувства с такой уверенной грацией, что Пэтти убедилась: он не чувствует себя виноватым. К тому же, все в доме немного боялись Карла, и теперь, когда их отношения утратили невинность, Пэтти тоже начала его бояться.

Клара заболела. Заходя в комнату с чаем, с обедом, Пэтти встречала молчаливый взгляд укоряющих глаз, которые день ото дня становились все более печальными. Пэтти отвечала непроницаемым пустым взором, которым она теперь смотрела на все, что не было Карлом. Карл сидел на краю постели жены, гладил ее руку и улыбался Пэтти поверх головы жены. А голова уходила в подушки все глубже, доктора беседовали с Карлом в коридоре все тише. Карл говорил Пэтти, что вскоре станет вдовцом и тогда сможет сделать Пэтти своей женой.

Пэтти не горевала о Кларе. Она не горевала о детях, со слезами покидавших комнату, где Клара становилась с каждым днем все слабее. Пэтти вы-

соко держала голову и, стиснув зубы, проходила ужас настоящего, чтобы когда-нибудь войти в будущее, где все оправдается, все уладится, где она станет миссис Карл Фишер. Ее выбрали, ей сулят королевский трон. Она займет место, уготованное ей с рождения, и пусть миллионы женщин умрут и миллионы детей всплеснут ручонками.

Клара умерла. А Карл передумал. И Пэтти так и не поняла, почему. Должно быть, она совершила какую-то ошибку. В чем же она ошиблась? Размышления над этим ужасным «всего лишь из-за того...» стали для Пэтти постоянными во все последующие годы. Она улыбалась на похоронах Клары. Может, из-за этого? А может, все-таки ее цвет? Карл мог терпеть его у любовницы, но не у супруги. А может, ее необразованность, или голос, или что-то связанное с личной гигиеной, или несвоевременная холодность? А может, из-за того, что она как-то появилась перед Карлом в нижнем белье? (Он был очень строг в отношении ритуала любви.) А может, его в конце концов одолело чувство вины перед Кларой? А может, Мюриэль, тихо ненавидевшая Пэтти, убедила, отца в его безрассудстве? Вопросы остались без ответа, да ведь она никогда и не спрашивала. Усыпляющее молчание Карла покрыло все, как

море.

Карл по-прежнему приходил к ней в постель. Пэтти постоянно дрожала от этого чудовищного раздевания, когда сутана падала и под ней обнаруживалось обнаженное мужское тело. Пэтти любила его. Он по-прежнему оставался для нее целым миром. Но отдавалась она ему теперь с каким-то смирением. Она начинала понимать, сначала смутно, потом все яснее, что значит быть рабой. Ей было обидно. Карл учредил некий культ покойной жены: повсюду фотографии Клары и замечания, полунасмешливые, полусерьезные, что вот, дескать, слишком поздно разглядел в ней святую. Пэтти обижало и то, чего она прежде почти не замечала — это мнение Карла о том, что Мюриэль и Элизабет стоят выше нее на социальной лестнице. Но, уяснив все это, она не взбунтовалась. Она лежала рядом с ним — Парвати рядом с Шивой — и, глядя во тьму широко открытыми глазами, обдумывала свою вину.

А вина ждала своего времени. Как только Пэтти узнала, что Карл не женится на ней, она сразу с удвоенной силой почувствовала свою собственную вину. Преступление за большую цену кажется менее безнравственным, чем преступление, ничем не оплаченное. Она сжимала руки

в ночной тьме. Это из-за нее Клара страдала. И умерла в горе и отчаянии из-за нее. В наследство она получила непримиримую враждебность двух девочек. Эта враждебность сначала не трогала Пэтти, но теперь стала для нее мучительной. Жалкие попытки задобрить врагов вели только к еще большему отвращению. Особенно Элизабет, которую Карл всячески баловал, Пэтти воспринимала как живой укор собственной душевной непросвещенности. Взрослея и становясь из-за болезни Элизабет все ближе друг к другу, девушки превращались в угрозу, в объединенный фронт безжалостного осуждения. Две эти бледные, холодные, обвиняющие силы преследовали Пэтти во мраке ночи. Пэтти сникла. Пэтти сокрушалась. Но сокрушалась она в одиночестве, и состояние это нисколько не помогало ей. Она напрасно бормотала: «Господь избавил Даниила, так почему же не всякого человека».

Потом, в один из дней, Карл перестал ею интересоваться, перестал столь же загадочно и естественно, как когда-то начал. Он покинул ее ложе и не вернулся. Для Пэтти это было почти облегчение. Она погрузилась в апатичную печаль, несущую в себе своего рода излечение. Она перестала следить за собой и вскоре поняла, что

толстеет. По дому она передвигалась медленно, посапывая на ходу. И ее религия неизменно была с ней. Она молилась каждую ночь, повторяя свои детские просьбы: «Иисус, пастырь добрый, услышь меня». Кто знает, не сохранит ли этот младенческий Бог то место в ней, где еще жила невинность. Каждое воскресенье она преклоняла колена, чтобы получить причастие из рук, восславивших ее, и не чувствовала, что богохульствует. Вера Карла была всегда, как и многие другие вещи вокруг него, тайной для нее, но она верила в его веру, как верила в Бога. Он не сомневался в себе как в священнике, был одинаково свободен как в церкви, так и в постели. И из всего этого Пэтти на первых порах и черпала своего рода моральную небрежность, похожую на некий возвышенный цинизм. Когда Карл покинул ее, она стала более свободна и сурова в своем покаянии. Но теперь он стал вызывать у нее еще большее изумление.

Примерно в это время Карл, исполнявший свои пасторские обязанности хоть и без страсти, но аккуратно, начал обнаруживать те самые маленькие, но тревожные странности, которые содействовали формированию репутации, предопределившей его появление в городе. Он сделался затворником, отказывался встре-

чаться с посетителями и отвечать на письма. Элизабет, которой иногда доводилось исполнять обязанности секретаря, поручалось собирать всю корреспонденцию и время от времени посылать ответы. Он вводил странные, собственного сочинения вариации в ритуал богослужения и даже в литургию. Одну из проповедей он начал такими словами: «А что если я скажу вам, что Бога нет?» Потом замолчал, оставив собравшихся в тревожном ожидании. Однажды он провел службу из-за алтаря. Он позволял себе смеяться в церкви.

Эти выходки скорее пугали Пэтти, чем смущали ее. В ее глазах Карл был наделен неискоренимой благодатью, его поступки она воспринимала как что-то вполне естественное. Однако чувствовала, что в его душе творится что-то нехорошее. Безучастность — вот что ее пугало. При всей своей странности он оставался холодным, умеренным, даже осторожным. Все в нем было на месте, кроме главного, думала она, но имени этого главного она не могла определить. А может быть, Карл просто перестал верить? Сама Пэтти не перестала верить, хотя вера и стала для нее скорее талисманом, нежели неоспоримым фактом. Ее вселенная изменилась и продолжала изменяться. «Снаружи жизни нет», — сказала она себе однажды, едва

понимая смысл собственных слов. Ее утренние молитвы, ее вечерние молитвы, облегчавшие груз ночного ужаса, утратили ясность и стали более формальными. Драгоценная кровь утратила какую-то частицу своей магической силы, и Пэтти больше не чувствовала близости Бога, хотя некая туманная фигура еще возвышалась, чтобы звать потерянную душу.

Теперь время от времени она подумывала о том, не уйти ли ей от Карла. Но эти мысли напоминали мечту узника стать птицей и перелететь через тюремную стену. Любовь, страсть и чувство вины окутывали ее плотно-плотно, и она лежала, неподвижная, словно куколка, чуть шевелясь, но не имея ни сил, ни возможности переменить место. Она была очень несчастна. Она непрерывно тревожилась за Карла, и вражда с девушками отравляла ее существование. Но покинуть Карла ради простой жизни в другом мире, родить ребенка, любить невинно — нет, все это было для нее невозможно. Она безнадежно испорчена, изломана, и обычная жизнь у нее отнята. В прошлом такие, как она, бывало, находили убежище в монастыре. А что можно сделать в наши дни? Вот она уходит далеко и посвящает себя служению людям, становится отныне и

навсегда Патрицией, сестрой Патрицией. Она читала газеты и представляла себе это бескрайнее море человеческого страдания. И она видела себя — чистую, не от мира сего, врачующую раны, безымянную и таинственную. Может быть, ее даже ждет мученическая смерть, может, ей суждено быть съеденной черными людьми в Конго.

Пэтти, конечно, знала, что все это лишь пустые мечтания. Пустые, потому что со временем ее связь с Карлом стала еще сильнее. Она осталась зависимой. Физическая связь между ними, как паутина, все еще опутывала дом. Когда-то Карл танцевал с ней, а теперь танцевал один под музыку «Лебединого озера», смутный силуэт, движущийся во тьме комнаты, дверь которой он оставлял лишь чуть-чуть приоткрытой. Но она чувствовала, что он танцует для нее, что он принадлежит ей, танцующий. Она чувствовала его, и он чувствовал ее. В каком-то смысле она все еще была его любовницей. И Карл нуждался в ней как будто даже больше, чем прежде. Они не вели долгих разговоров, но они и прежде их не вели. Они сосуществовали в постоянном животном обмене взглядов, прикосновений, присутствий и полуприсутствий.

Именно из-за этой близости Пэтти сумела, на-

конец, различить, что Карла терзает какой-то невероятный страх, от которого и она сама испытывала ужас, ей становилось не по себе. Теперь, вопреки его странному одинокому веселью, она неизменно видела его мучеником в аду. Карл боялся и сеял вокруг себя страх, ощутимый почти физически. Его боязнь проявлялась довольно странно. Он жаловался, что видит в доме крыс и мышей, а Пэтти не сомневалась, что ничего такого нет. Он говорил, что краем глаза улавливает, как мелькает что-то черное. Пэтти предполагала, что подобное случается только от пьянства, но Карл не пил. Пэтти знала наверняка только одно: видения Карла не принадлежат этому миру даже в том смысле, в котором принадлежат ему черти в белой горячке.

А потом наступил, совершенно неожиданно, переезд в Лондон. Это было ужасно — и для будущего, и вообще. Теперь Пэтти осознала: если ее странный мир еще как-то походил на благопристойную реальность, то именно благодаря надежной простоте окружения. Подобно индийскому мистику, привыкшему прятать сверхъестественное сияние своего тела под тесными одеждами, и Пэтти надевала пальто, красную велюровую шляпку и замшевые перчатки, чтобы направить-

ся в супермаркет. Для нее имело значение то, что она делает покупки в одних и тех же магазинах, болтает с одними и теми же дамами, ходит в один и тот же кинотеатр, выпрямляет волосы у одного и того же парикмахера и там же, попутно, читает одни и те же журналы. Это была некая успокаивающая сфера, где Пэтти знали как обыкновенную женщину, где пурпурное сияние было скрыто. Правда, ходили кое-какие сплетни о ней и о Карле, но они вскоре улеглись, и все по-прежнему были с ней любезны. Пэтти существовала в повседневном мире, и у нее там было звание. Раз, возвращаясь из церкви, она услыхала, как одна женщина спросила:

— Кто это?

— Служанка из пасторского дома, — ответили ей. — Говорят, она просто сокровище.

Пэтти боялась переезжать. А вдруг там, на новом месте, бесценный дар ее сосуществования с Карлом обернется жалкой кучкой пыли и паутины? В смятении она все трудности воспринимала как угрозу. Где она теперь будет выпрямлять волосы? Где найдет уборщицу, такую же надежную, как миссис Поттер? И как, скажите на милость, в этой пустыне, окружающей новый дом пастора, она сможет просто кормить Карла? Евгений

Пешков мог помочь далеко не всем. Евгений — большой, дружелюбный, спокойный, нисколько не удивляющийся такому чуду, как Пэтти, — был на самом деле единственным утешением в этой обстановке.

И на четвертый день туман нисколько не рассеялся. Сумрачно было даже в полдень, и дом не прогревался, хотя Евгений и уверял, что отопительная система в порядке. Пэтти дала отпор миссис Барлоу и тут же забыла о ней. Но колокольчик зазвонил опять.

Пэтти чуть приоткрыла дверь и увидела Маркуса Фишера, который уже несколько раз звонил по телефону. Рядом с ним стояла какая-то женщина. Пэтти показалось, что она ее уже где-то видела.

— Доброе утро, Пэтти, — сказала женщина. — Я — мисс Шедокс-Браун, вы должны меня помнить. Я посещала Мюриэль в том месте, где вы жили прежде. Я хочу повидаться с ней снова, если вы не возражаете. А мистер Фишер хотел бы поговорить с пастором и с Элизабет.

Пэтти придержала дверь коленом.

— Боюсь, мисс Мюриэль сейчас нет. А пастор и Элизабет не принимают.

— Извините, Пэтти, но мы не можем счесть это за ответ, — возразила Шедокс-Браун, поднимаясь

на ступеньку. — Вы позволите нам войти, и тогда мы сможем обсудить все более основательно, да?

— У нас сегодня неприемный день, — сказала Пэтти и захлопнула дверь перед самым носом мисс Шедокс-Браун. Та сунула было в щель ногу и едва успела ее убрать.

Пэтти вернулась в темный зал. Она поймала белый промельк бумажной стрелы и смяла ее в руке. Она посмотрела на своего господина, возвышающегося в черной плотной сутане, как башня во тьме. Поезд прогрохотал внизу, где отец Пэтти, быть может, зарабатывал свой хлеб насущный.

Глава 4

— Мюриэль!

— Я здесь.

В детстве ее заставляли называть отца «Карл», а она не могла, и с тех пор отец лишился для нее всякого имени.

— Ты можешь подойти сюда на минуту?

Карл всегда говорил «подойти сюда», будто сам был неподвижен. Эта фраза звучала немного угрожающе, словно предвещала какой-то неожиданный удар.

Мюриэль в нерешительности остановилась в дверях. Она боялась отца.

— Подойди ближе, пожалуйста.

Она вошла в кабинет. Книги, перекочевавшие сюда из зала, покрывали ковер из черного конского волоса и еще половину пола неопределенным темным наростом. В кругу света от раздвижной настольной лампы обнаруживалась покрытая красной кожей поверхность стола, а на нем — стакан молока, и выше, уже почти во мраке — красивое лицо Карла, всегда казавшееся Мюриэль как бы застывшим, окаменевшим. Ли-

цом короля троллей.

— Я хочу знать, что ты собираешься делать, Мюриэль, для того, чтобы поступить на службу в Лондоне.

Мюриэль принялась лихорадочно думать. Ей не хотелось открывать отцу правду, а правда заключалась в том, что в течение ближайших шести месяцев она и не собиралась искать никакой работы. Все это время она думала посвятить написанию поэмы. Мюриэль, с детства сочинявшая стихи, долго мучилась над вопросом: действительно ли она — поэт? И за эти шесть месяцев ей необходимо было, так или иначе, найти ответ, окончательный. Она намеревалась предоставить последнюю возможность духу поэзии. В конце концов, единственное спасение в современном мире — быть художником. В настоящее время она сочиняла длинную философскую поэму, размером *«Cimetiere Marin»*[9], и уже сочинила пятьдесят шесть строф.

— Я собираюсь заняться поиском, — сказала она.

— Хорошо. Думаю, уже скоро ты займешь пост секретарши. — Карл употребил выражение «зай-

---

[9] Примечания: 9
Кладбище кораблей *(франц.).*

мешь пост», а не «найдешь место». Это была часть бюрократического стиля, который, Мюриэль заметила, он припасал для общения с ней.

— Я поищу.

— Ты сейчас идешь к Элизабет?

— Да.

— Мне кажется, я слышал колокольчик. Иди же.

Когда Мюриэль подошла к двери, ведущей в комнату Элизабет, она услыхала за собой голос, вкрадчиво зовущий: «Патюшечка». Нахмурившись, Мюриэль постучала и вошла.

— Приветствую тебя.

— Приветствую тебя.

Элизабет сидела на полу. Куря сигару, она собирала огромную головоломку, уже в течение двух месяцев занимавшую девушек. Головоломка прибыла в Лондон анонимно, в багажнике нанятого автомобиля, и была кем-то уже наполовину разгадана.

— Эти кусочки моря такие одинаковые.

Картинка представляла собой морское сражение. Но девушки никак не могли разгадать, что же это за сражение.

Элизабет курила и перебирала кусочки, а Мюриэль села напротив зеркального французского

гардероба и принялась наблюдать. Ей нравилось смотреть, как толстый коричневый цилиндр сигары подрагивает в тонких бледных пальцах.

Элизабет находилась в расцвете своей красоты. С первых дней болезни она привыкла одеваться очень просто, в черные брюки и поношенные рубашки, и при этом сохраняла несколько необычный облик «возлюбленного пажа». Нежно-золотистые волосы опускались ей на плечи живописными средневековыми завитками. Узкое продолговатое лицо было бледным, иногда почти белым. Но белизна эта скорее походила на насыщенную светом белизну южного мрамора. Жизнь взаперти обесцветила ее, подобно растению во тьме, но в самой этой бесцветности было какое-то сияние. Иногда ее голова становилось снежно-белой, будто попадала в область некоего ледяного излучения. Только глаза, большие, синевато-серые, светились насыщенным цветом, цветом грозового неба, видимого сквозь пустые глазницы статуи.

— Извини, что позвонила. Я просто устала. Это тебя не побеспокоило?

— Нисколько.

— Что новенького?

— Почти ничего. Тот ужасно милый русский

господин принес нам еды. Наконец он почувствовал, что Пэтти и я — отдельные государства.

Это был вопрос чести для Мюриэль — избегать услуг Пэтти. Соучастие Пэтти в смерти Клары возбудило в Мюриэль ненависть, которая со временем вошла у нее в привычку. В прошлом она несколько раз пыталась простить Пэтти, хотя вовсе не потому, что на нее нисходила благодать всепрощения. Иногда ей становилось жаль это несчастное темное существо, вот и все. И еще она пыталась постичь вину отца. Но что-то в устройстве ее внутреннего мира делало вину Карла невидимой. И она с тоской понимала, что сам отец черпает некое язвительное удовольствие, наблюдая эту войну между дочерью и служанкой.

— Черт, ты закрыла страницу.

Мюриэль действительно автоматически закрыла том «Илиады», лежавший рядом с нею на полу. Знание греческого придавало Элизабет еще большую прелесть. Теперь Мюриэль сожалела, что не выучила греческого. Она сожалела и о том, что не поступила в университет. Она ощущала себя старой и о многом сожалела.

— Извини. Мне как-то не по себе. Мы все здесь будто в осаде. Туман не рассеивается.

— Я знаю. Несомненно, что-то тревожное в этом есть. Я даже не раздвигала шторы. Вполне возможно, сейчас ночь.

Новая комната Элизабет, ярко освещенная несколькими лампами, потихоньку начинала приобретать вид ее прежней комнаты. Как и та, эта была L-образной. Кровать стояла в нише, частично скрытая за китайской ширмой. Чуть повернув голову, Мюриэль могла разглядеть в зеркале самый краешек постели. Простыни в беспорядке свисали до самого пола, но все вместе напоминало гнездо — воздушное шелковистое ложе в восточном вкусе. Длинная книжная полка, уже установленная и заполненная, помещалась рядом, на стене. Рабочий столик Элизабет с маленьким приемником и пишущей машинкой, которую она называла «собака», стоял между гардеробом и дверью. Повернутый к камину, где мрачно полыхал огонь, протянулся покрытый красным вельветом шезлонг, поддерживая спину Элизабет, теперь отдыхающей после раздумий над головоломкой. Карл купил ей эту дорогую и изысканную вещь, когда она впервые почувствовала себя плохо.

«Если я собираюсь быть привлекательной калекой, мне надо иметь шезлонг», — сказала тогда

Элизабет.

Мюриэль восхитилась, она всегда восхищалась отвагой и почти сверхъестественной бодростью, с которой Элизабет выносила тяготы собственной судьбы.

— Что понадобилось Карлу? Кажется, я слышала, как он тебя позвал.

Мюриэль всегда немного удивлялась этой привычке двоюродной сестры называть ее отца по имени. Так она звала его всегда, с раннего детства, ничуть не смущаясь. Девушки никогда не обсуждали Карла, разве что шутливо: «Может ли когда-нибудь дьявол явиться собственной персоной и утащить его в ад?»

— Он спрашивал, ищу ли я работу.

— Ты не сказала ему о поэме?

— Нет.

Элизабет никогда не просила Мюриэль прочитать поэму, а когда Мюриэль что-то зачитывала ей, всегда отделывалась кратким замечанием. Мюриэль несомненно огорчила бы суровая критика, но и отсутствие таковой ей не помогало.

В эти дни Мюриэль почти физически ощутила некие изменения в их отношениях с Элизабет. Пять лет, которые их разделяли, в разное время означали разное. Элизабет всегда была чистой,

нежной, душой дома, средоточием невинности. Ничто и никогда, казалось, не в силах было омрачить веселость осиротевшего ребенка, веселость неиссякаемую, несущую в себе столько света. Даже Пэтти любила ее. И когда Элизабет тащила Мюриэль за руку, все вперед и вперед через все годы детства, Мюриэль послушно следовала за ней, но при этом знала, что защитница и опекунша — она. Мюриэль твердо, даже упрямо верила в свои силы и считала себя учительницей Элизабет. Элизабет была понятлива, усердна и преданна. И вот только недавно Мюриэль почувствовала, что баланс смешается и пять лет начинают терять свое значение. По своему развитию и образованности кузина была почти ей ровня, и Мюриэль угадывала в повзрослевшей Элизабет силу характера, не уступающую ее собственной. Лишь угадывала, ибо эта сила не только никогда не устремлялась против нее, но и едва обнаруживалась в ее присутствии. Ради Мюриэль, да и ради Карла Элизабет все еще играла роль веселого послушного ребенка, но теперь с невольным оттенком притворства. То, что до сих пор казалось таким мягким и шелковистым, теперь время от времени обнаруживало отблеск стали.

Это тихое возмужание и восполнило, по мне-

нию Мюриэль, красоту Элизабет. Лицо ее стало более суровым, еще больше похудело, словно где-то в глубине зрело нечто сильное, властное. Взгляд темных глаз утратил детскую открытость, он что-то сознательно охранял теперь, что-то, требующее неусыпной защиты, Мюриэль всегда с готовностью соглашалась, что Элизабет «прелестна», и в ее восхищении не было ни капли зависти. Мюриэль, для которой ни в коей мере не было характерно чувство самоумаления, знала, что и она привлекательна. По сути, она была похожа на Элизабет, только не так бледна и с менее выразительными чертами. Волосы, которые она стригла коротко, по-мальчишечьи, были золотисто-коричневого цвета, а глаза были узкими, темными, с вкраплениями синевы. Мюриэль не сомневалась в том, что красива. Но Элизабет она считала не просто красивой, а великолепной.

С интеллектом все обстояло иначе. Элизабет была скорее сообразительна, чем вдумчива; у нее был хороший, но едва ли творческий ум. Она блестяще овладела греческим, а ее латынь была теперь лучше, чем у Мюриэль. Но Мюриэль одобрила и поддержала решение Карла, что, отчасти из-за слабого здоровья, Элизабет должна отказаться от поступления в университет.

И Элизабет осталась дома. Она, как и Мюриэль в свое время, верила в силу самообразования; Мюриэль же с удовольствием продолжала формировать и направлять образ мыслей кузины — ради будущего, в отношении которого она постоянно строила определенные планы. Мюриэль знала, что во всем, что касается ее кузины, она неизменно будет главной. Элизабет никогда не посягала, да, наверняка, и не будет посягать на ее интеллектуальное первенство. Между ними не было и намека на столкновение воль. Наши отношения, как они нередко признавались друг дружке, замечательны, совершенны!

Мюриэль иногда беспокоило, что Элизабет воспринимает свой невероятно замкнутый образ жизни как нечто вполне естественное. В Мидленде у них был свой маленький круг знакомых, но девушки неизменно третировали молодых людей как низших, поддразнивая и распоряжаясь ими в их присутствии, и насмехаясь в их отсутствие. И всех этих юношей рано или поздно ждал приговор: «ужасно скучный». С ними обращались так, как капризные принцессы обращались с детьми слуг. Более подходящая компания, возможно, ждала девушек в Лондоне, но не так-то просто было найти друзей для Элизабет. Карл никогда

не делал попыток ввести ее в общество, а сама Элизабет была странно равнодушна к своему одиночеству. Мюриэль с беспокойством искала в подрастающей Элизабет признаки интереса к юношам, но Элизабет только подшучивала над своими немногочисленными приятелями. Мюриэль пыталась расслышать отзвук внутренней тоски, но тщетно. В отношении больной девушки к настоящему не было как будто ни капли отчаяния. Только недавно, в этой сверхъестественной тишине, она вдруг ощутила в Элизабет признаки страстной натуры.

Мюриэль, давно считавшая себя исключением, теперь начала осознавать, что не имеет никаких предпосылок для обычной любовной жизни. Мюриэль все еще была девственницей, но это ее нисколько не волновало. Не было мужчины ее возраста, которого она не сочла бы ничтожеством по сравнению с собой. Время от времени она влюблялась в старших по возрасту мужчин, глупо, по ее собственному мнению, и сентиментально. Она была влюблена в своего учителя латыни и в коллегу в той фирме, где работала. Невостребованная, да и просто незамеченная, ее страсть умирала тихой смертью. Великий театр страстной любви — это не для нее. Ей предстоит,

забыв о радостях жизни, в одиночку идти по стезе художника и мыслителя. Только отношения с Элизабет были той сферой, в которую она вкладывала всю свою душу.

Мюриэль было больно и вместе с тем приятно осознавать, что жизнь кузины может со временем сложиться по-другому. В предназначении Элизабет, в отличие от ее, Мюриэль, предназначения, нет ничего исключительного. От рождения ей суждено счастье обыкновенной жизни, и она однажды обретет его. Она слишком прекрасна, чтобы навсегда пропасть в черной безлюдной пещере, которую отец Мюриэль неутомимо возводил вокруг себя и в которой Элизабет была поистине средоточием света. Конечно, у Мюриэль иногда появлялась мысль — уйти и увести с собой Элизабет. Но такой поступок казался всегда чем-то преждевременным и неуместным. Что-то хрупкое было… но не в ее отношениях с Элизабет, а в самой ситуации, препятствующей любому насилию. Элизабет, в конце концов, расплачивалась за свое затворничество своей неготовностью к встрече с миром. Но, может быть, наступит день, когда явится ее принц. То есть, станет ясно, что его появление необходимо. И тогда она, Мюриэль, сама его выберет и подготовит. Она не

представляла себе замужество Элизабет, которое повлекло бы за собой их расставание. После стольких лет они просто не смогут расстаться. Значит, их станет трое.

Отделяя свою судьбу от судьбы кузины, Мюриэль взвалила на себя груз превосходства, тяжкий, она понимала это, груз. Медленно отдаляясь от берега обычной жизни, она временами испытывала панику. Это напоминало утрату невинности; и случались времена, когда ее охватывала неясная тоска по простым вещам — глуповатой влюбленности, свободному счастливому смеху. Смотреть, как пес бежит по улице — и то счастье. Она не могла понять, почему ее аскетизм так похож на грех. Вся ее жизнь, даже долгая дружба с Элизабет, была проникнута тайной печалью. Мысль о самоубийстве пришла к ней не откуда-то извне, как результат каких-то событий или разочарований, скорее, это было свойственно ей. Она уже давно запаслась бутылочкой со снотворным. Таблеток было достаточно, чтобы при желании уйти из этого бренного мира легко и безболезненно. Мысль, что она здесь лишь временно и каждый день совершает выбор, пронзала ее дрожью всякий раз, когда она сжимала и встряхивала маленькую бутылочку освобождающих таблеток, о существо-

вании которых не знала даже Элизабет. Да, она могла уйти в любой день. Но, конечно, не сейчас.

— Мюриэль, Ариэль, Габриэль.

— Что милая?

— Старуха Шедокс-Браун приходила? Она ведь обещала.

Элизабет погрузила сигару в пепельницу и начала нервно перелистывать страницы.

— Да, заходила сегодня утром с дядей Маркусом. Я слышала, как Пэтти сражалась с ними у дверей.

— Не думаю, что Карлу вечно удастся удерживать их за порогом. Мне в общем-то не очень хочется видеться с дядей Маркусом. А тебе с Шедокс?

— Избави Боже. Эта женщина создана из правил. Я показывала тебе ее письма? Сплошные рассуждения: «Отважно встречай трудности, ищи достойную работу».

— Ненавижу отважно встречать трудности, а ты?

— Просто видеть их не могу.

Обе гордились своим утонченным теоретическим имморализмом. Из самонадеянности, из чувства превосходства, из упрямства в них естественным путем развилось презрение к мо-

рали и обожание вольности. Их самих ничто не склоняло к проступкам. На самом деле они вели строго упорядоченную жизнь, которую Мюриэль предложила, а Элизабет приняла. Но при этом признавали, что все позволено. Они презирали самоотречение, называя его условностью и причиной неврозов. Они расправились с так называемой моралью давно, во время взаимных споров, так же, как в раннем детстве убедили друг дружку, что Бога нет, и навсегда закрыли вопрос.

— Мир добреньких мне просто противен, — сказала Элизабет.

— И мне тоже. Они просто тешат свое чувство власти. И так собой довольны. Это своего рода снобизм. Шедокс именно такая.

— Кстати, о добреньких. Дорогая Антея снова была тут?

— Да, сегодня утром. Ходит сюда, как на службу.

Миссис Барлоу уже превратилась для девушек в предмет шуток.

— Думаю, мне надо подняться.

При помощи нескольких медленных размеренных движений Элизабет поднялась и расположилась в шезлонге, вытянув длинные ноги в черных брюках. Мюриэль молча наблюдала за

ней. Элизабет не любила, когда ей помогали.

— Ты хорошо спала прошлой ночью, моя дорогая?

— Как бревно, а ты?

— Шум поездов меня беспокоит.

Прошлой ночью Мюриэль приснился ужасный сон. Он ей не раз снился. Она прячется в каком-то пустынном месте, может быть, в храме, за колонной, и наблюдает испуганно, как что-то темное выходит из земли, поднимается все выше и выше. Окончания сна она не помнила и всегда просыпалась в ужасе. Она никогда не рассказывала Элизабет об этом сне.

— Я так устаю, — сказала Элизабет. — Сразу засыпаю.

— Ты ничего тяжелого не поднимала?

— Нет, нет. Книги поднимала, но по одной. И провозилась, скажу тебе, целую вечность.

— Надеюсь, я тебя не наградила своей простудой?

— Это я наградила тебя своей, моя птичка!

— А как ты сейчас себя чувствуешь?

— Серединка на половинку.

Болезнь Элизабет, все еще загадочная для врачей, увлекала, даже зачаровывала Мюриэль. Казалось, все относящееся к Элизабет, даже ее

болезнь, оборачивалось прелестью и привлекательностью. Сама Элизабет старательно обходила тему своей болезни, сохраняя в этом вопросе целомудренную сдержанность, которая и пленяла Мюриэль, и взвинчивала в ней любопытство. Элизабет как бы пряталась за своей таинственной болезнью. Теперь в присутствии Мюриэль она уже не переодевалась и показывалась только одетой. Очень редко она позволяла лицезреть себя с обнаженными ногами или царственно возлежащей на постели в розовато-лиловой ночной рубашке с крохотными, похожими на молочные зубы, перламутровыми пуговками. Без условного стука и ответа изнутри в ее комнату войти было нельзя. Иногда на стук не отвечали, и Мюриэль приходилось ждать призывного звона колокольчика. И еще: Элизабет стала избегать прикосновений. Мюриэль поняла это не из слов, а благодаря сложному языку движений. Она ощущала наэлектризованный барьер, который теперь отгораживал кузину от нее. Мюриэль испытывала тревогу, а Элизабет как бы и не осознавала, что отныне в самой ее общительности есть некая доля отстраненности. Случались между ними и секунды напряжения, паузы, замешательства, по-своему изящные; были мгно-

вения, когда Мюриэль хотелось обнять кузину, но сделать это было невозможно.

Мюриэль предполагала, что всему виной ортопедический корсет. Ей хотелось притронуться к Элизабет и ощутить его. Этот предмет, который ей не позволено было видеть, занимал ее воображение чрезвычайно. Сначала Элизабет еще как-то намекала на существование корсета, даже шутила, называя себя «железной девой», но потом стала сдержанней, и упоминания прекратились. Мюриэль знала о корсете только одно: с тех пор, как Элизабет стала чувствовать себя более удобно в брюках, она носила «мужской» вариант корсета, хотя в чем отличие между мужским и женским, так и не выяснилось. Мюриэль часто думала, не заставить ли Элизабет показать эту вещь. Ведь такая скрытность вредила самой кузине. И все же Мюриэль опасалась вторгаться в столь деликатную сферу. Элизабет уже способна дать отпор. Мюриэль хотелось только одного — хоть как-то успокоить свою разыгравшуюся фантазию.

Мюриэль наблюдала, как Элизабет пытается поудобнее устроиться в шезлонге. Потом ее взгляд проследовал над золотистой головкой к тому месту в углу стены, где длинная трещина разрезала обои. Комната Элизабет когда-то была

значительно больше и приобрела свою нынешнюю конфигурацию за счет возведения двух стен, образовавших рядом маленькую комнатку, теперь имевшую отдельный выход в коридор. Ее выделили под бельевую, и Пэтти уже хозяйничала там. Вскоре после приезда, обследуя дом, Мюриэль вошла в эту комнатку и заметила проблеск света в углу, где соединялись две стены. Сквозь эту щель можно было заглянуть в комнату Элизабет и даже, с помощью зеркального гардероба, проникнуть взглядом в нишу, где стояла кровать. Мюриэль, изумленная тем, что ее посетила эта идея, немедленно вышла из бельевой, будто избегая какого-то тревожного искушения. Подсматривать за кузиной — какие глупости!

Чтобы отвлечься от этой притягательной трещины, Мюриэль повернулась к зеркалу. Комната появилась снова, но выглядела она иначе. Она была видна словно сквозь слой воды, погруженная в серебристо-золотой мягкий сумрак. В зеркале отразилась ее собственная голова, прямо за ней струящиеся волосы Элизабет, повернувшейся взбить подушку; дальше, в полумраке ширмы, большая часть постели, воздушной и разбросанной. Мюриэль теперь смотрела в свои собственные глаза, более синие, чем у Элизабет,

но не такой красивой формы. Заметив, что ее дыхание туманит стекло, она придвинулась ближе и прижалась губами к холодной поверхности. Когда губы зеркального двойника устремились ей навстречу, она что-то вспомнила. Она только один раз поцеловала Элизабет в губы, но тогда между ними было стекло. Это был солнечный день. Они увидели друг друга сквозь стеклянную садовую дверь и поцеловались. Элизабет было четырнадцать. Мюриэль вспомнила ребенка, убегающего в глубь зеленого сада, и холодную твердость стекла, на которую натолкнулись губы.

Она вздрогнула и поспешно стерла с поверхности минутный образ вожделения. Элизабет, справившись с подушкой, улыбнулась отражению Мюриэль. А Мюриэль без улыбки вглядывалась в зеркало, как в магический колодец, в чьей неподвижной глубине промелькнул вдруг мерцающий призрак сказочной принцессы.

Глава 5

— Пэтти, кто заварит чай — вы или я?

— Лучше вы.

Евгений Пешков погрузил свои крупные пальцы в коробку с чаем. Чай был очень мелкий и струился, как песок. Он поплотнее сжал пальцы и перенес щепотку чая в чашку. Всего несколько крупинок упало на зеленую плюшевую скатерть.

Евгений чувствовал себя плохо, потому что поссорился с сыном. Он был стойким человеком. Он слишком много времени провел на самом дне жизни без всякой надежды, чтобы теперь страдать от сомнительной игры искушающих желаний и мимолетных впечатлений. Ничто не лежало вне пределов его досягаемости, потому что он давно перестал стремиться к достижению чего-либо. В сущности, он и о Лео никогда по-настоящему не тревожился. Но сын причинял ему боль, особенно в последнее время. Эта боль возвращалась постоянно, подобно удару. Неглубокая боль, как бы внешняя, но несомненная, как чье-то присутствие.

Они поссорились из-за ничего, просто пото-

му, что Лео захотелось поссориться. Лео сказал что-то колкое об обитателях дома, а Евгений его остановил. И тогда Лео сказал, что Евгений ну прямо вылитый слуга. Евгений вспылил — и Лео ушел, хлопнув дверью. Такие сцены случались теперь часто, и каждый раз Евгений недоумевал, как можно так не уважать отца. А потом ему становилось больно оттого, что он ясно видел: отца можно еще и ненавидеть. Евгений и Лео вели крайне скромную жизнь. И Лео всегда был ласковым ребенком. Они не разлучались с тех пор, как Таня умерла. Лео было тогда два года. Долгие годы он нес Лео и вел за собой. Иначе нельзя было. Больше о мальчике позаботиться было некому. Лео сидел у него на плечах, держался за него, как звереныш держится за шерсть родителя. Как же из такой близости, из такой любви могла появиться подобная ненависть?

Естественно, мальчик вырос, и ему хотелось вырваться из дома. Его стипендии не хватало, чтобы платить за отдельное жилье, поэтому он сердился. «Надо немного потерпеть, — говорил Евгений, — скоро все изменится». Но в мальчике чувствовалось не просто раздражение, а какое-то затаенное яростное негодование. Чем же Евгений, который был его заступником и почти слугой

всю свою жизнь, заслужил такое отношение? Он поправлял его, но всегда осторожно. Он критиковал его, но совсем немного. Евгений знал, что его драгоценный сын то и дело меняет любовниц, но не переставал от этого огорчаться и недоумевать. Одна девица, кажется, даже забеременела. Евгений как-то заговорил с Лео об этом. Он полагал, что тон его был скорее благоразумным, нежели осуждающим. Может, за этот разговор сын его и возненавидел? С некоторых пор Лео не говорил с ним по-русски, а если Евгений обращался к нему на родном языке, юнец отвечал по-английски. Это оскорбляло Евгения больше, чем прямая обида. Он ощущал процесс намеренного разрушения, развивающийся в этом уязвленном сознании. Если бы мог, Лео уничтожил бы в себе драгоценную структуру русского языка; он забыл бы, если б только мог, что он — русский.

Утешением для Евгения было видеть Пэтти. Она очень часто спускалась в его «бомбоубежище» с просьбами о том о сем. И вот впервые с тех пор, как он официально пригласил ее на чай и получил согласие, она оставалась так надолго. Ему было легко с ней, как обычно бывает легко с людьми без претензий и без положения. Евгений не страдал от чувства неполноценности, потому

что был наполнен и скреплен своей «русскостью» так же, как, он знал, англичанин наполнен и скреплен своей «английскостью». У англичан и у русских куда больше, чем в иных нациях, развито спокойное и твердое убеждение, что они — самые лучшие. Никакой суматохи. Есть как есть. Евгений не утратил за время своей кочевой жизни ни капли этой уверенности. Но он был реалистом и иногда рассматривал это чудовищное довольство собой, слишком мягкотелое, чтобы именоваться гордостью, слегка иронически. Ему не удалось занять место в английском обществе, относительно социальной лестницы он стоял в самом низу. Его друзьями были изгнанники, люди, не сумевшие, как и он, приспособиться. Но за бортом пребывало людей достаточно, чтобы именоваться обществом, возможно, не самым худшим. В Пэтти он признал сородича.

Теперь он смотрел на нее. Она сидела немного сгорбившись, на нижней полке. Икона горела над ее головой, как звезда. Комната была ярко освещена, возможно, слишком ярко, и Пэтти моргала. А может, ее просто смущал чужой взгляд. Бывают такие люди. Комната с ее высоким потолком и гладкими бетонными стенами казалась угрюмой, словно погруженной в землю, но ведь она и в

самом деле находилась чуть ниже уровня пола. Ничем не занавешенное длинное узкое окно, занимавшее верхнюю часть стены, полнилось теперь туманным мраком. Под окном, в колодце комнаты находилась двухъярусная койка, стол, покрытый зеленой скатертью с бахромой, современного вида кресло, деревянный стул и желтая, фарфоровая, узкая в «талии» подставка, на которой стоял горшок с каким-то растением. Евгений не знал, как называется это растение, хотя оно жило у него много лет. Длинные ветви заканчивались глянцевитыми, похожими на сердечки листьями, которые со временем темнели, сохли и опадали. Растение не любило ни воды, ни света. Евгений чрезвычайно дорожил им. Растение и икона — это была его собственность. Остальные детали обстановки попали сюда по чистой случайности.

Евгений поправил электрическую печку, чтобы тепло от нее шло к Пэтти. Печка горела только для уюта, потому что из-за близости котельной в комнате было не холодно. Пэтти застенчиво помешивала чай, вот уже четвертую чашку. На столе, на зеленой скатерти, стояла тарелка с намазанными маслом ломтиками хлеба и тарелка с пирожными, присыпанными сверху сахарной

пудрой, очень мягкими. Запах хлеба наполнял комнату. Пэтти положила одно пирожное к себе на тарелку, но как будто робела есть. Евгений не спускал с нее глаз.

Девушек из Вест-Индии он часто встречал на улице и в метро, но никогда не рассматривал так долго. Ему нравилось ее широкое плоское лицо, напоминающее русские лица. Ее пышное тело напоминало о доме. Она была женщина «что надо», полногрудая, монументальная. Нерешительный поначалу изгиб бедер переходил в мощную параболу, и сзади — всего тоже было достаточно. Ее груди, обрисовывавшиеся под тесноватым розовым свитерком, были большими и совершенно круглыми, как две пристроенные к телу сферы. Она сидела чуть расставив ноги, и над коленями был виден краешек слегка потрепанной нижней юбки. Ему нравилась эта ее рассеянная, небрежная женственность и то, как она постоянно теряла туфли. Ему хотелось снова и снова видеть ее улыбку, неожиданно открывающую ряд белоснежных зубов. Она то и дело одаривала его взглядами, и глубина их волновала его. Он с трепетом смотрел в ее черные, усеянные огненно-красными точками глаза, на ее темные, странно прямые волосы, как бы парящие вокруг

головы и не улетающие только благодаря силе магнетизма.

— Тут всегда так темно в это время года?

— Вы о тумане? Да, всегда, но в нынешнем году он что-то задержался. Скоро пройдет.

— Я его побаиваюсь. И поезда так странно гремят внизу.

— Вы привыкнете и не будете слышать. Я не слышу. Привык. Вам станет лучше, когда сами начнете ходить за покупками.

Евгений промолчал о том, что ему затруднительно делать покупки для всего дома.

— Я пойду с вами завтра.

— Угощайтесь пирожным. Мне грустно, что вы не едите.

Пэтти улыбнулась своей чудесной улыбкой и откусила робко кусочек пирожного, совсем маленький.

— Думаю, у вас скоро будет много дел. Обеды, приемы и тому подобное. Жизнь войдет в свою колею.

— Что вы, нет! У пастора не бывает гостей.

Евгений не знал, огорчаться ему или радоваться. Про себя он обсуждал такой вопрос: если ему предложат место дворецкого, соглашаться или нет? В прошлом ему уже довелось быть дворец-

ким. Хорошо или плохо, но он пытался играть роль дворецкого. Все, кто его видел, не сомневались, что он дворецкий, и даже очень умелый. Евгений не чувствовал себя униженным этим маскарадом. Ему случалось исполнять и другие роли — посыльного в отеле, лифтера в магазине, сторожа в школе и, правда недолго, бармена. Теперешняя работа, хотя жалование за нее было невелико, его вполне устраивала. Ему нравился четкий, незамысловатый физический труд, нравилось содержать вещи в чистоте и порядке, нравилось иметь свой угол. Деньги он получал ничтожные, зато обзавелся прекрасным жильем для себя и Лео. Существовала некая эмигрантская организация, платившая ему маленькую стипендию. Ему удавалось как-то жить. Пастор, который жил здесь до этого, в нем почти не нуждался, и Евгений развил в себе приятную склонность к праздности. Он привык заниматься тем, что сам называл размышлениями, хотя это больше походило на мечты. У него не было никаких книг, кроме нескольких повестушек в мягких обложках, но он постоянно читал исторические биографии, которые брал в библиотеке. Он имел маленький приемничек и рассеянно слушал музыку. Его интересовали новые обитатели дома, и

он все-таки немного расстроился, что дворецкий им не потребуется.

— А мисс Мюриэль не принимает?

— Нет, нет. Она такая… замкнутая.

Евгению не очень нравилась эта самоуверенная худая девушка с мальчишеской стрижкой и острым взглядом. Не понравилась поспешность, с которой она принялась расспрашивать его.

— Священник, то есть пастор… он часто так болеет?

— Он не болеет.

«Я сказал что-то не то», — подумал Евгений. Почему он решил, что пастор болен? Потому что тот по утрам не вставал с постели и в дом никого не пускали? И лицо его казалось каким-то странным. Евгений пугался его, хотя во время их редких встреч пастор не проявлял к нему никакой недоброжелательности.

— Ну ладно, хорошо… Утром, я слышал, вы опять не пустили миссис Барлоу, и подумал… Вы счастливы, Пэтти, что переехали в Лондон? Ешьте же пирожное.

— Спасибо. Я не знаю. Я ведь по-настоящему еще Лондон не видела. Хорошо, что рядом река. А море можно увидеть?

— Увы. Море далековато отсюда.

— Я никогда не видела моря.

— Никогда не видели моря?!

Возможно ли такое? Счастливое детство, его нельзя представить без моря. Ему вдруг стало горько, что жизнь ее так обделила. Без этой истинной радости она всегда будет маленькой, как засохший орешек.

— Как ужасно… Я полагал, если ваши родители из Вест-Индии…

— Мой отец родом с Ямайки. Мать была белая, ирландка.

Евгений пожалел, что вовремя не догадался. Она не такая уж темная. Наверное, ей стало больно.

— Значит, это фамилия вашей матери…

— Да… вы ведь не знали. Мои родители не были женаты.

«Она смущена, — подумал Евгений. — Она думает, что не понравится мне. Как объяснить ей, что для меня это не имеет никакого значения?» Ему захотелось прикоснуться к ее руке, чуть выше запястья, где уже не было тесной розовой ткани свитера. Он произнес: «Это не имеет никакого значения».

— Я знаю, что не имеет значения. То есть, имеет, имело. Мне было ужасно плохо в детстве.

— Расскажите мне об этом.

— Не могу. Слишком тяжело. И вообще, я забыла. Расскажите лучше о себе, о своем детстве.

— О моем… ну…

— Если вы не против…

— Нет, я не против…

Как давно он не рассказывал о себе, как давно не говорил с женщиной. Разговаривая так непринужденно с Пэтти, он понял, как редко теперь наслаждается обществом женщин. Жены друзей были не в счет, потому что, перебравшись в дом пастора, он и с друзьями почти перестал встречаться. Вдруг до него дошло: рядом женщина, одна, в его комнате.

— Где вы родились?

— В Санкт-Петербурге… то есть в Ленинграде.

— Вы родились раньше, чем название изменилось?

— Раньше. На шесть лет.

— Ваши родители были богатыми людьми?

— Богатыми.

Это все звучало как-то странно. Его родители были богатыми, по нынешним меркам — очень богатыми. Но их богатство казалось таким естественным, что упоминать о нем было как бы и ни к чему.

— Значит, вы росли в большом доме, со слугами и всем прочим?

— До шести лет. У нас было два дома, один в Петербурге, другой в деревне.

Он помнил все удивительно ясно. Его русские воспоминания сохранили яркость красок. Все прочие потускнели. Он видел розовый фасад большого дома на Мойке, украшенный богатой лепниной, пыльный летом, заснеженный зимой. И высокую некошеную траву около деревенского дома, пестреющую цветами, почти скрывающую длинный низкий деревянный фасад от взгляда прячущегося ребенка. Мать зовет его с веранды, а он прячется в траве. Видит сквозь траву ее белое платье в горошек и бахрому ее медленно вращающегося зонтика.

— Вы замечательно говорите по-английски.

— Я знаю этот язык с младенчества. Мы все говорили по-английски. Я бегло говорил еще до отъезда из России.

— Ребенком вы были счастливы?

— Был ли я счастлив? Я жил в раю.

Тут не было преувеличения. Он был зачат и родился в счастье, он обретал сознание в море счастья. Он любил своих родителей. Он любил свою сестру. Он любил слуг. И все любили его

и баловали. Он был как маленький принц. В деревне у него был собственный пони и конюх. В Петербурге — свои сани, лошадь Нико и слуга Федор, который всегда возил его, когда он хотел проведать друзей. Топая сапожками по скрипящему поблескивающему снежку, он забирается в сани. Медные части саней поблескивают на солнце огоньками. Меховая полость укрывает его так, что только нос и глаза видны из-под теплой шапки. Широкий черный кожаный пояс на Федоре мягок, и пахнет от него особым лаком, тем, что продается в английском магазине на Невском. Лошадь на секунду напрягается. И начинается легкий бег. Сани скользят, летят. Тихий шум полозьев. Быстрее, Федор, голубчик, быстрее! Солнце освещает снежную дорогу, исчерканную следами других саней. Солнце отражается в позолоченном куполе Исаакиевского собора и в тонкой игле Адмиралтейского шпиля.

— Как вам повезло, что у вас такие чудесные воспоминания. Уж их-то у вас никто не отнимет.

Да, они забрали почти все. Но верно, эти шесть золотых лет остались неисчерпаемым источником света. Ласкового света. Он до сих пор с благодарностью грелся в его лучах. Он как бы неустанно наматывал и наматывал год от года

все более тусклую ткань своей жизни вокруг этого дорогого раннего времени — так темное яйцо работы Фаберже хранит в сердцевине своей сверкающее чудо, драгоценный камень.

— Но что же случилось потом, когда вам исполнилось шесть?

— Революция случилась. Родители уехали в Ригу и увезли меня и сестру.

— И все оставили?

— Все, кроме нескольких драгоценностей. Но они были очень дорогие. Мы не бедствовали в Риге, во всяком случае, вначале не бедствовали.

С этого момента воспоминания постепенно темнели. Взрослые тревожно перешептываются и, когда дети рядом, замолкают. Ребенок широко раскрытыми глазами изумленно смотрит на море.

— Наверное, вы сильно обижались на тех, кто вас изгнал?

— Думаю, мы могли остаться. Было бы трудно. Нет, я не чувствую обиды. Прежняя жизнь была несправедлива. Одни чрезмерно богаты, другие чрезмерно бедны. Этого надо было ожидать.

Он и в самом деле не чувствовал обиды. В гибели его счастливого мира присутствовала некая космическая справедливость. Но была горечь,

а может, просто невыразимая печаль. Он так любил свою страну.

— А где находится Рига?

— В Латвии. Около Балтийского моря.

— И вы там долго жили?

— Шесть лет. Отец боялся, что Советы присоединят и Латвию. Они так в конце концов и сделали, но мы к этому времени уже уехали. Переехали в Прагу.

— Прага. Это в Чехословакии? Вы там бедствовали?

— Да, бедствовали. Адвокат, знакомый нашей семьи, помог отцу устроиться служащим в контору. Мать давала уроки русского языка. Я поступил в университет.

Замкнутые в Праге. Она всегда ему казалась похожей на ловушку, прекрасную, но зловещую клетку. Большие, массивные строения, спускающиеся уступами башен к плененной речке. У них было жилище на узкой улочке, ниже Страхова монастыря. Бедам ни конца ни края, холод зимой и колокольный звон. Звон, звон в студеном воздухе.

— Так вы образованный человек?

— Пожалуй, да. Но учился я так давно.

— А вы могли разбогатеть?

— Кто его знает. Отец умер, когда мне еще не исполнилось двадцати. Тогда дела пошли еще хуже. Мы все работали. Сестра занималась шитьем. Конечно, в Праге было очень много русских. Мы помогали друг другу. Россию мы унесли с собой. Но это было печальное время.

Катафалк с трудом преодолевает крутую, слишком узкую улочку. Гроб накреняется. Мать и сестра идут, спотыкаясь, вытирая слезы. Но у него сухие глаза, он решил держаться. Катафалк подскакивает на булыжниках. Колокола.

— А что случилось потом?

— Ну, потом случился Гитлер. И мои занятия кончились.

— Гитлер. О да, я забыла. И вы опять бежали?

— Пытались, но документы оказались не в порядке. Нас задержали на границе. Мать и сестру отослали назад в Прагу. Меня отправили на работу, на фабрику. Позже я попал в лагерь.

— Там было очень плохо? Сколько вы там пробыли?

— До конца войны. Там было плохо, но случались места и похуже. Работал тяжело, но еды хватало.

— Жалко… жалко вас.

— Смотрите, я уже несколько дней называю

вас по имени — Пэтти. Почему бы и вам не звать меня — Евгений?

Он привык давать английское произношение своего имени, потому что не мог слышать, как англичане коверкают его имя и фамилию. Прекрасные русские звуки сделались некой тайной. И он с каким-то мрачным удовольствием хранил инкогнито.

— Хорошо, я попробую. Я еще не встречала никого с таким именем…

— Евгений.

— Евгений. А, понятно. И что же произошло с вашей матерью и сестрой?

— Мать умерла от удара довольно скоро. Расставшись на границе, я больше ее не видел, хотя письма приходили. Сестра… не знаю… она просто… исчезла.

— То есть вы хотите сказать, что не знаете, как сложилась ее жизнь?

— Нет, во время войны люди именно исчезали. Она исчезла. Я какое-то время надеялся на встречу.

— О, мне так жаль. А как вашу сестру звали?

Наступило молчание. Евгений вдруг понял, что не в силах произнести ни слова. Волнение поднялось в нем и, словно выплеснувшись, заполнило

комнату. Он схватился за край стола. Годы и годы прошли с тех пор, как он говорил с кем-то об этом. Спустя мгновение он вымолвил: «Ее звали Элизабет. По-русски — Елизавета».

— О, простите. Ни к чему было беспокоить вас расспросами. Простите.

— Нет, нет. Мне нравится рассказывать. Прежде не доводилось. С вами хорошо. Спрашивайте дальше. Я отвечу на любой вопрос.

— Что же случилось после войны?

— Я жил в разных лагерях для перемещенных лиц. В конце концов попал в один лагерь в Австрии.

— И сколько вы пробыли в лагерях?

— Девять лет.

— Девять лет? Почему же так долго?

— Ну, тяжело было выбраться. Столько неразберихи, столько скитаний с места на место. Потом я женился в лагере. Ее звали Таня. Татьяна, то есть. Она была русская. И у нее обнаружили туберкулез. Надежды на отъезд почти не было. Предстояло искать страну, которая согласилась бы нас принять.

Он вовсе не собирался жениться на Тане. Рождение Лео решило вопрос.

— Чем же вы занимались все эти годы в ла-

гере?

— Ничем. Промышлял немного на черном рынке. В общем, ничем.

Ему вспомнился длинный деревянный барак среди сосен. Его место было в углу. Заполучить угол — вот что было главное. Позднее они с Таней поселились в маленьком домике, половину которого занимала другая семейная пара. Кое-как обставили комнату, стены украсили картинками. Ему было не так уж плохо, особенно когда родился Лео. Странно, после семи лет убийственного труда — девять лет праздности.

— А вы никогда не думали вернуться в Россию?

— Думал, тогда, в лагере. Таня не хотела возвращаться. Я тоже чего-то боялся. К тому же вопрос религии.

Он поднял глаза к иконе. Ласково наклонив головы, Отец, Сын и Дух Святой беседовали у стола, покрытого белой скатертью. Их золотые крылья перекрывались, переплетались. Они были печальны. Они знали, что не все хорошо с их творением. Может, они чувствовали, что сами тихо отдаляются от ими же созданного.

— А вы христианин, православный?

— Нет, теперь нет. Теперь я никто.

Во время войны его религия утешала его, но, скорее, как память о невинности и хороших людях, чем как личная вера в спасительную святость. В годы праздности вера поблекла, как почти все поблекло в те годы. Он отказался от своей страны из-за Бога, в которого больше не верил. Но он столько думал о России там, в лагере, в летние дни, валяясь на койке, чувствуя голод, вдыхая аромат сосен и запах креозота, вновь видя себя среди родных людей, среди родной речи.

— Эта картина, икона… Она всегда была с вами?

— Нет, не всегда. Она принадлежала моей матери. Когда она умерла, наши пражские знакомые, та семья адвоката, забрали икону. Уже после войны они разыскали меня через Красный Крест в лагере и передали. Единственная вещь здесь, которая была и там.

Не верилось, что икона действительно висела в спальне матери, в их доме в Санкт-Петербурге. В спальне, наполненной полумраком, колыханием раздуваемых ветром занавесей, тюлем и кружевами. Там было душно и пахло *eau de Cologne.* Собственный путь казался менее странным, чем путь этой иконы. Может, из-за того, что он состарился, а икона — нет.

— Она чудесная. И, наверное, очень дорогая.

— Да. Там в лагере, я вечно боялся, что ее похитят. Думаю, не украли только из страха, суеверие не позволило. Здесь я всегда запираю комнату… в этой части Лондона много воров. И вам советую проверять замки. Впрочем, может, и здесь у вора на икону рука не поднимется. Кажется, она чудотворная. Прежде чем оказаться в нашей семье, она принадлежала какому-то храму. И, по преданию, ее раз в год носили вокруг города. И тогда вдруг разное случалось — люди признавались в совершенных преступлениях или мирились с врагами.

— А для вас она совершила какое-нибудь чудо?

— Нет. Значит, я не заслуживаю чудес. Я потерял веру.

Он потерял свою страну и свою веру. Величественное, сумрачное, сияющее пространство русской церкви было домом, домом для него во все годы детства и юности. Бородатый русский Бог прислушивался в этом сумраке к его просьбам, к его молитвам, журил его за проступки, прощал грехи, любил его. Но в конце концов, очень медленно он начал понимать, что дом этот пуст. Гигантское присутствие — просто какой-то фокус мрака. Там ничего нет. Только мрак. И вот

вырос сын, для которого Бог — ничто.

— Я люблю эту икону, — сказал он. — Возжигаю для нее ладан, словно кормлю ее. Она больше, чем символ.

А на самом деле — чем она могла быть? Только символом. Он был чувствительным, суеверным человеком. Он любил икону за то, что она принадлежала его матери, была с ними в Петербурге. Возможно, владение ею как-то поддерживало его ущемленное чувство собственности. Он любил ее так же, как чистый, лишенный всего личного образ доброты.

— И потом вы приехали в Англию?

— В конце концов…

— А потом?

— Потом ничего особенного. Служил, был на разных работах. А теперь вот говорю с Пэтти.

Как прошли эти годы? А так, взяли и прошли. Иногда в памяти время складывалось, как в подзорной трубе, и тогда казалось, что из-за Гитлера они покинули Санкт-Петербург. Время зрелости было так, мимоходом, отнято у него. Пятнадцать лет в лагерях, вся середина жизни. Даже больше, потому что ему казалось, что по-настоящему он так и не покинул лагерь. В Англии он, как и там, перемещался из одного барака в другой. И

теперь вокруг был лагерь. А в нем — свой угол. И не более.

— Мне хотелось бы работать в каком-нибудь таком месте, — сказала Пэтти.

— В лагере для беженцев? Но почему?

— Это было бы настоящее… надо быть поближе к подлинному горю… помогать людям.

— Людям, которые там живут, нельзя помочь. Жизнь в лагере — это сон, Пэтти. Привлекательна она только для занимающихся благотворительностью. О, сколько я видел помощников, таких счастливых, таких довольных собой! Наиболее счастливыми, наиболее свободными делает нас именно зрелище чужих страданий, чужой несвободы! Нет, они были хорошими людьми, эти благотворители, не сочтите меня циником. Но между их самодовольством и нашим сном лежала пропасть. Возможно, Бог видел это. Только святой мог бы там находиться без лжи.

— Тогда я хотела бы стать святой.

Евгений рассмеялся.

— Весь мир — сплошной лагерь, Пэтти. Так что у вас есть надежда. Бывают хорошие углы и плохие, но все вместе не более, чем пересылка.

— Значит, вы верите в загробную жизнь?

— Нет, нет. Просто я не принимаю происходя-

щее близко к сердцу. Мы здесь ненадолго.

Его слова прозвучали резко в тишине ярко освещенной комнаты. Молчание затянулось.

— Мне надо возвращаться к своим делам, — поднимаясь, сказала Пэтти. — Я и так засиделась. Из-за меня вам пришлось ворошить прошлое.

— Ну что вы, я делаю это с удовольствием. Об этих вещах надо говорить. В следующий раз вы расскажете о себе.

— Мне нечего о себе рассказывать, — ответила Пэтти, сметая крошки с юбки.

— Не верю. У всех есть свои приключения. О, я очень рад! Вы съели три пирожных!

— Мне не следовало бы. Я и так толстая. Все собираюсь похудеть.

— Пожалуйста, не худейте. Вы такая славная. Вы мне нравитесь именно такой.

— Действительно?

— И несомненно. Это же счастье. Однажды вы похудеете и поймете, что не надо было. Худые женщины похожи на смерть.

Он вспомнил бедную Таню, иссохшую, глядящую на него с укором. Она была клочком его памяти, лишенным плоти. Он был не слишком добр к ней. Гневался на ее беременность, на ее болезнь. А она так страшно похудела.

— Ну, я пойду.

— Вы придете опять, обещаете?

— Приду. У вас хорошо.

— И… когда туман рассеется… хотите, я покажу вам море?

— Море… правда?

— Нет ничего легче. И обещайте, что отправитесь именно со мной, а не с кем-нибудь другим.

— А больше и не с кем. Да, я очень хочу увидеть море. С вами…

— Евгений.

— Евгений.

— Значит, решено.

Она улыбнулась ему из-под своих парящих волос.

После того как она ушла, Евгений какое-то время стоял и смотрел на Отца и Сына и Святого Духа. Да, с Таней он был не слишком ласков. Через минуту он принялся обдумывать, как повезет Пэтти посмотреть море.

Глава 6

Мюриэль тихо закрыла за собой входную дверь. Пронизывающий холод охватил ее, и она чихнула. Неприятная простуда все еще не прошла. Туман, как поднятый палец, водворял молчание. Уткнув нос в платок, она пошла по мостовой — и дом тут же скрылся из виду. Она шла, окруженная пустотой. Мерзлая земля топорщилась маленькими гребешками. Противоположная сторона дороги оставалась невидимой. Звук речной сирены дрожал в плотном воздухе и как будто окутывал ее. Она шла молча, в центре замирающего эха.

Через какое-то время она остановилась и прислушалась. Ничего. Плотный покров тумана замыкал ее в маленьком шарике призрачной видимости, мглистый воздух гладил щеки влажным прикосновением. Шерстяной шарф, которым она повязала голову, вскоре пропитался влагой. Она сунула носовой платок в карман, с силой выдохнула, и белое облачко пара проплыло перед ее лицом. Она стояла, напряженно вглядываясь, вслушиваясь, чего-то ожидая. Туман волновал

ее.

Это утро Мюриэль провела, пытаясь выразить языком поэзии свое волнение. Она прибавила еще ряд строф к своей философской поэме, и туман как-то незаметно пробрался в них. Клубящийся, подползающий, движущийся и в то же время неподвижный, всегда отступающий и никогда не исчезающий, порождающий затаенное тревожное напряжение — туман, казалось, символизировал все ее нынешние опасения. Страх проник в поэму. И это ее удивило. Значит, она боится? Но чего? Бояться нечего. Таблетки в маленькой голубой бутылочке всегда при ней. Теперь, когда она стояла на мостовой, сердце ее билось учащенно, и прежнее чувство больше напоминало не страх, а любовь. Но возможно ли любить черное ничто?

Мюриэль сделала несколько робких шагов, на мерзлой поверхности звучавших приглушенно. Она решила, что пришло время прочесть кузине отрывок из поэмы, но Элизабет этим утром не позвала ее. Мюриэль нравилось то, что она написала. Возможно, именно в процессе сочинения этот непонятный страх преобразовался в не менее непонятное чувство любви, пронизывающее ее теперь беспокойством и трепетом. Сейчас,

укутанная в одежды, она чувствовала внутри себя тепло и неукротимость жизни. Она с наслаждением вдохнула холодный туманный воздух. И вдруг остановилась.

На пустынном участке, слева от нее и теперь очень близко, почти выступая из стены тумана, стояло что-то. Так неподвижно, что она приняла это за афишную тумбу. Но «это» больше напоминало фигуру человека. Только теперь она осознала, что вокруг до странности безлюдно. В следующее мгновение ей показалось — и это было еще более странным и пугающим — что там, в тумане, все же стоит человек, стоит абсолютно недвижно, стоит, как она, ожидая и, возможно, прислушиваясь. Да, несомненно, это был человек, мужчина. И он смотрел на нее. Мюриэль помедлила. Потом сделала еще один шаг. И увидела. Там стоял Лео Пешков.

Просто пройти и не поздороваться было невозможно, как невозможно было бы пройти, если бы их встреча произошла в джунглях.

— Здравствуйте, — сказала Мюриэль.

— Здравствуйте. Чудесный туман, правда?

— Я о нем как раз думала. Я им просто наслаждаюсь.

— А я тут уже давненько стою в надежде напу-

гать кого-нибудь. Надеюсь, я вас напугал?

— Несомненно! Не странно ли, что вокруг ни души?

— Ничего странного. Поблизости только склады. К тому же, сегодня воскресенье…

— Воскресенье? А я и не знала.

— Зоветесь пасторской дочкой и не знаете, что воскресенье?!

Мюриэль подумала: юноша довольно дерзок. И произнесла холодно: «Ну, всего хорошего. Я иду к реке».

— Если пойдете этой дорогой, реки вам не видать.

— Увижу, не волнуйтесь. Прощайте.

— Я проведу вас к реке. Честно, сами не найдете. Там такие узкие проходы между складами, в них надо разбираться. Но, может, вам нравится блуждать по этой грязи?

— Река должна быть там. Если я буду идти вперед…

— Река окружает нас. Мы находимся на своего рода полуострове. Я покажу вам кратчайший путь, идемте.

С этими словами юноша исчез в тумане. С чувством некоторого раздражения Мюриэль сошла со своей тропинки и последовала за ним. Сейчас

ей больше хотелось побыть одной.

Площадка, на которой когда-то развернули строительство, была покрыта ледяными кочками. Хрупкий лед ломался, и под ним обнаруживалась слякоть.

— Подождите, не надо так спешить.

— Извините. Конечно, на высоких каблуках… О, да на вас так называемая практичная обувь. Возьмите меня под руку, если хотите.

— Не волнуйтесь. Долго еще идти?

— Пару шагов — и пришли. А мне нравится эта пустошь. Жаль, что ее застроят. Отсюда отличный вид на собор Святого Павла и на другие церкви. Увидите, когда туман спадет.

Мюриэль странно было думать, что сейчас, скрытые в тумане, вокруг нее теснятся купола, башни, шпили. Она и позабыла, что живет в городе.

— Вот и тротуар. Мы почти пришли.

Глухая стена вдруг появилась из тумана, рядом с ней другая. Мюриэль почувствовала себя в ловушке.

— Тут один из проходов, о которых я говорил. Он сужается, а потом начинаются ступеньки. Осторожно, тут скользко. Держитесь лучше за стену.

Рукой в перчатке Мюриэль коснулась стены. Смерзшиеся комки грязи превращались в кашу под ее ногами. Она чувствовала, как влага проникает ей в ботинки. Вдоль стены была натянута цепь. Держась за нее, она спустилась на несколько ступенек. Узкая полоска тротуара, фонарный столб. Еще несколько ступенек — и вдруг вода.

— Вот и пришли, — сказал Лео. — Много разглядеть сейчас не удастся. Но вам хотелось сюда. Вот, пожалуйста.

В этом месте туман был легче и прозрачней, будто ему снилось, что где-то светит солнце. Мюриэль могла видеть пятнадцать-двадцать ярдов стремительно текущей воды, темной, отсвечивающей янтарем, увлекающей за собой щепки и длинные, похожие на расплетенные косы, водоросли. Опять где-то поблизости в тумане прозвучала сирена, и Мюриэль вновь ощутила странное чувство, которому все еще не находила названия, — страх это или любовь. Ступени вели к воде. Она сошла на самую нижнюю и обернулась.

Лео стоял наверху, прислонившись к стене. На нем было короткое потертое черное пальто, вокруг шеи повязан старый шерстяной шарф. Коротко стриженные, потемневшие от влаги волосы

облепили голову, как глянцевитый кожаный шлем. В нем было что-то свежее, стремительное. Казалось, он сейчас нырнет, как утка, а может, только что вынырнул, как некий водяной дух. Мюриэль взглянула на него как на произведение искусства и с удовольствием отметила, какая у него круглая голова. Что же делало его таким прекрасным? Может быть, прохлада широко распахнутых глаз?

Чтобы снять неловкость затянувшегося разглядывания, она спросила: «Здесь поблизости есть мост? Можно перейти?»

— Милая моя, нет здесь никаких мостов. Мы внизу, среди доков. Сразу видно — деревенщина.

Мюриэль минуту поразмыслила. Такого рода дерзость нельзя оставить без ответа. Но если она поддержит его тон, то, возможно, даст повод к некоторому сближению.

И она сказала: «Если вы хотите, чтобы и впредь мы встречали друг друга с неким намеком на радость, с моей во всяком случае стороны, то советую в корне изменить тон».

Выражение сдержанного лукавого довольства озарило его лицо, но тут же исчезло. Он спустился на несколько ступенек, но не приблизился: «Разрешите мне встать на колени и вымолить

прощение?»

Еще минуту назад Мюриэль приписывала его развязность естественному желанию «сына слуги» быть на равных с госпожой. Теперь ей стало ясно, что он добивался именно того, что получил: ощущения близости, сообщничества. Она попала в ловушку.

Она произнесла холодно: «Что за глупости. Я не собираюсь причислять вас к своим друзьям. Теперь, я думаю, пора возвращаться. Жаль, но вам придется проводить меня. Иначе я не найду дорогу».

— Погодите, пожалуйста. Тут так чудесно.

Место и в самом деле было колдовское. Мюриэль действительно не хотелось уходить. Замкнутость пространства и уединенность придавали всему окружающему значительность почти религиозную. Резкий холод не заглушал, а напротив, обострял восприятие. Мюриэль вновь повернулась к быстро струящейся реке. От реки пахло гнилыми овощами и одновременно, очень тонко, водой.

— Вы учитесь в каком-то техническом колледже? — не оборачиваясь спросила она у Лео. Он теперь стоял рядом с ней.

— Учусь. Но мне это не очень нравится. Я ничего

не смыслю в математике. Там есть один парень, прямо из Кембриджа, который нас дрессирует. Я не врубаюсь. А вы как в математике?

— Неплохо. Но школьная математика — это совсем другое.

— Другое. Это выше моего понимания — такой способ мышления. Мое сознание всякий раз бунтует. Преподаватель все время говорит о чем-то конкретном, а до меня не доходит. Не могу объяснить. Пожалуй, брошу и буду искать работу.

— Но не огорчит ли это вашего отца?

— Отца? Какое мне дело, огорчит или нет?

— Разве вы его не любите?

— Люблю ли я его? Читали ли вы Фрейда, девушка? Извините, я, кажется, опять нагрубил. Известно, что все мальчики ненавидят своих отцов. А вот девочки, наоборот, в отцов влюблены.

— Я в своего не влюблена, — рассмеялась Мюриэль. — Но я не сомневаюсь, что ваш отец гордится вами. Вы же получаете стипендию и все такое.

— Ему безразлично. У него куча денег. Он же писатель. Может, настоящий, а может, притворяется. А привратником он просто так, для забавы нанялся. Надоест, и он уйдет. Такой шутник.

— Вот как?

— Корчит из себя бедного русского беженца, а

сам и не русский вовсе. Он немец. Банкирская семья из Прибалтики, знаете ли. Прожил в Англии всю жизнь. Денег масса.

— А, ну-ну. А кто ваша мать?

— У меня замечательная мать. Вы должны с ней познакомиться. Она, конечно же, англичанка. С отцом они давно расстались, и она снова вышла замуж. За какого-то лорда из северной Англии. Я к ним частенько наведываюсь. Чрезвычайно светские люди. Я питаю страсть к своей матери.

— Как интересно.

— Моя мать очень красива и очень эксцентрична. Боюсь, это у нас фамильное. Знаете, какая страсть гложет моего отца?

— Какая?

— Игра. Все русские — игроки, да будет вам известно.

— Но вы только что сказали, что он не русский.

— Ну, эти прибалтийские немцы берут пример с русских. Папаша обожает рулетку. Он может себе позволить. Едет в Монте-Карло, потом начинаются муки совести, и в виде покаяния он нанимается на какую-нибудь невзрачную работу. Вот сейчас у него как раз такое время. Но вскоре опять сорвется.

— Понимаю. Наверняка, он и вам дает достаточно денег.

— Ни гроша. Потому что он меня ненавидит. Ему хотелось иметь дочь. Все отцы ненавидят своих сыновей. Они их боятся. Молодой побег грозит старому дереву и все такое. История старая, как мир.

— Печально. Сколько же вам лет, Лео?

— Двадцать. Можно, я буду звать вас по имени?

— Можно.

— А можно спросить: вам, Мюриэль, сколько лет?

— Мне тридцать четыре.

Мюриэль тут же подумала: могла сказать и сорок четыре, тоже неплохо.

— Наверное, у вас большой опыт?

— В чем?

— В сексе, конечно. Какой еще опыт может быть у человека?

— О, да. Я страшно опытна.

— Надеюсь, вы гетеросексуальны? В наши дни столько девушек с иной ориентацией.

— Я вполне нормальна.

— Нормальных нет. Вернее, с нормальными неинтересно встречаться. И каких приятелей вы

предпочитаете?

— Пожилых мужчин. То есть, намного старше себя.

— Жаль. Нет, я вовсе не собирался предложить вам свои услуги. Это было бы, как вы говорите, дерзостью с моей стороны. К тому же, у меня есть девушка. То есть, уже нет. Я ее бросил.

— Я интересуюсь сексом несколько по-иному, — сказала Мюриэль. — Мне нравится быть рядом. Сам по себе секс утомляет.

Нахальство этого мальчишки и пронизывающий холод внушили ей какое-то пьянящее легкомыслие. Она с воодушевлением представила себя утомленной, опытной женщиной средних лет. Эх, надо было сказать, что ей, по меньшей мере, сорок!

— Девушек утомляет. Мужчин — никогда. Мне до смерти хочется экспериментировать, но никак не найду достойной партнерши. Обычно все повторяется, и повторяется, и повторяется. Вы не поверите, как легко ловятся пташки у нас в колледже. Только взглянешь — она уже падает на спину.

— Значит, вам уже надоело?

— Нет, на самом деле нисколько. Считаю, что в моем возрасте физиология не дает скучать. Но

глупо ужасно. Эти девицы такие безмозглые, а ведь секс — это также и разговор, правда? Я не могу с ними говорить, как с вами. Они безжизненные. С ними все так случайно, без драмы, без тайны, без напряжения. Одна ушла, точно такая же пришла. Переходят от постели к постели, как от станции к станции.

— И вы точно так же, через их постели.

— Да, верно. Но мне не хочется, чтобы так было. Знаете, у меня никогда не было девственницы.

— Тут необходимо везение. Нелегко, думаю, в наше время встретить девственницу.

— В том-то и беда. Я хотел бы жить во времена, когда девушек держали взаперти.

— Взаперти?

— Да, под замком, чтобы никто не видел. Сейчас девушки слишком доступны. Я хотел бы найти девушку строгую, оберегаемую семейством, которая прячется в сельском доме, которую не разрешают видеть, таящуюся за ширмами, за шторами, за крепкими дверями.

— А когда завоюете, она окажется для вас таким же убожеством.

— Нет, нет. Она будет прекрасной, чистой. До чего волнующе. Как в Японии. Мелькнувший краешек платья, витающий аромат духов. Неделями

мечтать о том, чтобы через какую-нибудь щель увидеть ее волосы.

— Такой девушке не позавидуешь, — сказала Мюриэль.

Она с удивлением поняла, что Лео еще не знает о существовании Элизабет. Отколупнув от стены замерзший кусочек, она швырнула его в омут янтарной воды.

— И мне совершенно все равно, бедна она или богата. К тому же, любая девушка, будь она духовно развита, оценила бы эту игру. Все эти бесконечные планы — как передавать письма, ожидание ночи у окна, подкуп слуг и прочие опасности… Я сыт ими по горло, этими заурядными женщинами. Вот почему я никогда по-настоящему не был влюблен. Если мне суждено полюбить, то только девственницу, затворницу. Она как спящая красавица, которую я разбужу, я стану ее первым мужчиной.

— Прекрасное человечество! Прекрасный новый мир! Какие люди в нем живут!

— Что?

— Ничего. Вы поставили перед собой непростую задачу.

— Невыполнимую. Проще стать гомосексуалистом.

— Лео.

— А?

— Зачем вы наговорили столько неправды об отце?

— Ничего себе. Откуда же вы знаете, что это ложь?

— Я много говорила с ним о его жизни. И он рассказал мне то, что, по всей видимости, и есть правда.

— Конечно. Вы из тех, кто всегда обо всем догадывается. Вы проницательная. Я вас боюсь.

— Неужели вы надеялись, что я поверю во все эти сказки?

— Не знаю. Да, думал, что поверите. Я лгал просто так, для практики, поверьте. Артистизм.

— Артистизм?

— Да, я поклонник искусства. У меня нет морали. Вы же не верите в Бога, во всю эту ветошь?

— Не верю, — сказала Мюриэль. — Хотя это не то же, что отсутствие морали.

— То же самое, скажу вам. Я представляю собой одну из проблем нашего времени. Я — одинокий волк, немного похожий на этого парня у Достоевского, забыл, как его звали. Я упражняюсь в имморализме, действительно хочу выбросить все эти старые условности из своей системы.

Поэтому, когда у меня появляется возможность солгать, я лгу. Ценности всегда относительны, абсолютных нет. А жизнь такая короткая. А еще есть Бомба. И однажды утром вы просыпаетесь и чувствуете, что больны, а потом у вас обнаруживают рак.

— Ну, и чего же вы хотите от жизни, Лео?

— Хочу быть знаменитым, сильным и богатым. Если честно, все этого хотят, только боятся признаться. За моральные принципы держатся только отсталые. Им не хватает сообразительности.

— Может, вы и правы, — сказала Мюриэль.

— Значит, вы не против? Здорово! Предлагаю стать парой мелких преступников. По крайней мере, хоть какая-то социальная роль.

— Но мне кажется, бессмысленно тратить усилия на то, чтобы стать, как вы говорите, имморалистом. Думаю, условности коренятся глубже, чем вам видится.

— То есть, по-вашему, от морали нельзя убежать? Жуткая мысль.

— Возможно. А как еще вы укрепляете вашу безнравственность?

— Я как раз собираюсь продемонстрировать.

— Что?

— Одолжите денег.

— Я вам одолжу, а вы не вернете, — рассмеялась Мюриэль. — В этом смысл упражнения?

Она оглянулась и посмотрела на него. Его лицо стало красным и влажным от тумана. Шлем потемневших волос придал ему сходство то ли с автогонщиком, то ли с юным гладиатором.

— У меня вообще-то нет денег, — продолжила она. — А сколько вы хотите?

— Семьдесят пять фунтов.

— Ничем не могу вам помочь. У меня нет ни пенса.

— Очень плохо. А рискнуть стоило, правда? Вы могли оказаться богачкой.

— А зачем вам деньги?

— Ну так… для девушки. Понятно?

— Тогда лучше украдите. И это будет по-настоящему безнравственно.

— А знаете, я, наверное, так и сделаю. Давно чувствую, что должен совершить поступок. У меня в жизни еще не было поступков. А у вас?

— Множество. Кажется, пора возвращаться.

Разговор, который раньше развлекал и волновал Мюриэль, стал каким-то тягостным. Может, потому, что стемнело.

— Знаете, вы мне кажетесь необыкновенной.

В вас есть незаурядность. Свободная женщина, свободная, как мужчина. Я буду вашим слугой. Вы станете мне приказывать. Как госпожа своему рыцарю. Я вам наговорил столько лжи, не сердитесь.

— Пустяки. Только впредь не проводите опыты на мне.

— А может, вы накажете меня?

— Каким же образом?

— Не знаю. Могу заплатить штраф.

Мюриэль, которая уже поднималась по ступенькам, повернулась опять к спешащей воде. Теперь в ней появился оттенок багрянца.

— Вам следует принести жертву Темзе.

— О, прекрасно! И чем же пожертвовать?

— Чем-нибудь ценным для вас.

— А, знаю. Шарф моего приятеля. Очень симпатичный шарф. Да здравствует новая прекрасная жизнь без математики!

Он спустился к реке, сдернул с шеи шарф и размашистым жестом бросил его в воду. Шарф бесшумно опустился на воду, потемнел и прежде, чем скрыться под волной, исчез в кольце тумана.

Эта мгновенная сценка неприятно поразила Мюриэль. Словно кого-то насильно утопили. Она

поднялась по ступенькам.

— Минуточку, Мюриэль, — Лео оказался рядом с ней.

— Что?

— А ведь и вы солгали.

— Как же?

— Тебе вовсе не тридцать четыре, моя дорогая.

Она рассмеялась, прислонившись к стене.

— Согласна, мне не тридцать четыре. Но сколько мне, я не скажу. Достаточно, что я старше тебя.

— Старше. Прекрасно. Но и тебе придется заплатить за ложь.

— Хорошо. Но чем?

— Поцелуй меня.

Расставив руки, он не дал ей возможности отойти от стены. Губы его прижались к ее губам. Они стояли неподвижно, закрыв глаза.

Глава 7

Маркус Фишер решил: дела зашли слишком далеко, и нельзя позволять им развиваться в таком направлении и дальше. К этому времени он уже не менее шести раз звонил в дом пастора и каждый раз получал отказ непреклонной Пэтти. Телефонные звонки попросту беспокоили дух Пэтти, но не нарушали его суровости. Письма к Карлу и к Элизабет остались без ответа. Он сидел в своей комнате в Эрл Коурт, наблюдая, как за окном темнеет в три часа дня, и понимал, что не в силах продолжать работу. Если раздавался телефонный звонок, то это всегда была Нора.

Книга Маркуса, получившая предварительное название «Мораль в мире без Бога», была успешно начата перед Рождеством. Он надеялся писать быстро. У него было достаточно материала, необходима была всего лишь систематизация. Он решил отказаться от введения в историю вопроса и не упоминать имена ранних мыслителей. Определять предшественников, традицию, школу — это задача критиков. Его задача — говорить просто, опираясь исключительно на силу своего

голоса. У него настолько веская аргументация, что не требуется подкрепления в виде ссылок на славные имена (хотя в заключении можно скромно намекнуть, что он в некотором смысле последователь Платона).

Его целью было то, что он предполагал назвать демифологизацией морали, и не меньше. По сравнению с этим демифологизация религии, которой так радостно и беспечно занимались теологи, почти не составляла труда. Лишенная Бога религия могла умереть, но морали нельзя позволить умереть. Религия без Бога, развивающаяся так неумолимо из теологической логики минувших столетий, представляла собой не что иное, как половинчатое сознание, что эпоха предрассудков миновала. Возможным следствием могла стать и мораль без Блага, что было по-настоящему опасным. Маркус намеревался спасти идею Абсолюта в морали путем демонстрации, что Абсолют неизбежно присутствует в тех моральных оценках, которыми сопровождается любая деятельность людей, начиная от самого незамысловатого, житейского, уровня; при этом Маркус хотел избежать как теологических метафор, так и грубости экзистенциализма, этой Немезиды академической философии.

Он завершил первую главу — «Метафизика Метафоры», — в которой доказывал, что идея духовного мира как чего-то отдельного, магнетического и властного не обязательно должна быть рассматриваема как метафизическая концепция. Незавершенный набросок раздела, объясняющего роль Красоты в раскрытии духовного, был отложен, и предполагалось, что он, возможно, появится в заключительной части книги. Маркус начал работу над главой, названной им «Некоторые фундаментальные типы оценок», и вдруг понял, что не в силах двинуться дальше. Он отложил решение о введении идеи синтетического априори как такового, и это сковало его продвижение вперед. Он утратил власть над материалом. Его теоретические взгляды больше не излучали энергии. Их затмило нечто более сильное. Карл и Элизабет — ни о чем другом он не мог думать. Воображаемые беседы с Карлом заполняли комнату наподобие эктоплазмы. И образ Элизабет, новой, уже взрослой, в потоке развевающихся светлых волос, преследовал Маркуса, прокрался в его сны.

Пережив несколько мучительных дней, Маркус решил положить этому конец. Надо как-то проникнуть в дом и встретиться с братом. И Элизабет

он тоже очень хотел увидеть. Тревожная мысль не отпускала его: а вдруг она подумала, что он забыл о ней? Зря он перестал посылать письма. Существовало столько путей доказать, что он помнит. Послать, допустим, букет цветов. Может, и сейчас еще не поздно? Он по-дурацки позволил себя отстранить, и теперь из освещенной призрачным светом сферы своего одиночества Элизабет и притягивала, и угрожала.

В последние два своих визита, после того, как его не пустили, чему он, впрочем, уже не удивлялся, он обошел вокруг дома, глядя на освещенные окна и гадая, в какой комнате что находится. Даже подергал заднюю дверь, но она оказалась запертой. Все это он проделывал виновато и испуганно, но при этом определенно чувствовал наслаждение. Нора ничего не знала об этих его расследованиях. Она составила свой собственный план действий, в связи с чем епископ и Маркус были приглашены на обед в начале следующей недели. Предполагалось обсудить, «что делать с этим человеком». Во всем, что касалось Карла, Нора почти теряла здравый смысл. Конечно, у бедной Норы был свой личный душевный интерес в доме пастора. Маркус знал, что она написала несколько писем Мюриэль, а в ответ

получила лишь короткую уклончивую записку, без всякого намека на возможность встречи. Нора считала, что во всем виноват Карл. «Сам сумасшедший, — говорила она, не особенно теперь подбирая выражения, — и все вокруг превращает в сумасшедший дом». Раньше она то и дело называла Карла «невротиком». Теперь, пополнив свою копилку новыми «историями», она прибавляла: «неуравновешенный», «психопат», «пропитанный злом». У него надо отнять должность. В конце концов речь идет об ответственности перед общиной. Перед епископом надо открыть все, без утайки. Маркус сначала отнесся с насмешкой к этой горячности, но потом задумался. Какое-то излучение, идущее от Карла, затронуло и его.

Ведомый неким инстинктом, Маркус все время скрывал от Норы, насколько он озабочен происходящим с братом. Она бы, конечно, не одобрила того, что он называл своими «экспедициями», и лучше было оставить ее в неведении. Она нашла бы их сентиментальными, опрометчивыми, лишенными самого для нее ценного — прямолинейности. Маркус испытывал своего рода удовлетворение, размышляя, как безнадежно лишены этой самой прямолинейности его чувства по отношению ко всему, что связано с

братом. К тому же нельзя было предсказать, чем это рискованное предприятие закончится. Если ему суждено оказаться в нелепом положении, то лучше пусть все останется в тайне. Так или иначе, сейчас ему не хотелось общаться с Норой. Она с изумляющей настойчивостью стремилась воплотить свои намерения — поселить его у себя в верхнем этаже. И смотрела на это так, словно вопрос был уже решен, если не брать во внимание каких-нибудь мелких деталей. При том, что Маркус никакого желания перебраться не выказывал.

Маркус составил план действий. Попросту проникнуть в дом, каким угодно способом, лучше всего через заднее крыльцо или через окно. Если понадобится, убрать с дороги Пэтти — и предстать перед братом. И чем больше росло в нем желание видеть Карла, тем мельче и мельче становились препятствия. Ничто не помешает ему войти в дом. Он считал, что знает своего брата достаточно хорошо, поэтому, если действительно окажется внутри, то самое плохое, что его там ждет — холодная насмешка Карла, может быть, какое-то фальшивое удивление. Стоит ли так волноваться из-за пустяка? Он как раз пытался разобраться в этом вопросе. Чем ты так взволно-

ван, мой дорогой Маркус? Действительно, чем? Увидишь, наконец, Элизабет. А потом будет только счастье. Великий мир сойдет и великий мир воссияет, похожий на свет утраченного детства. Неужели все может случиться совсем не так, совсем по-другому?

В этот вечер Маркус радовался туману. Был девятый час, и он никого не встретил, когда шел через строительную площадку. Ступая как можно тише, он улавливал отзвук собственных шагов, как будто их звук, не имея возможности пробиться сквозь слой тумана, вновь возвращался к его ступням. Окруженный ледяным холодом, он ощущал тепло своего тела с наслаждением, которое его пьянило. Ему надо было собраться с мыслями и передохнуть. Он почти задыхался от волнения. Но это было даже приятно. Наверное, осталось пройти совсем немного. А потом он всмотрится и определит, какие именно окна освещены. И вдруг он задел что-то левой рукой. Это была стена дома. Так вот как. Он подошел и сам того не заметил. Дом был погружен во тьму.

Маркус коснулся стены. Его пальцы скользнули по острому углу. С одной стороны были кирпичи, с другой, похоже, бетон. Он вздрогнул. Ему показалось, что он приближается к западне.

Внутри дома пульсировала какая-то угроза. Она словно поднималась над ним, нависала и таяла в тумане. Он вцепился в дом, но беспомощно, как слабеющий противник может на миг вцепиться в более сильного. Почему нет света? Не могли же они уйти все разом? Если и было что-то несомненное в этом доме, то лишь одно — там, за дверями, находились люди. Казалось, они поджидали его. Ему представилось некое зловещее совещание внутри, где они затаились, прислушиваясь. Скользя по мерзлой земле, Маркус побрел вдоль бетонной стены. То и дело он больно ударялся о ледяные бугорки. Стена дышала холодом. Он полз, как насекомое, касаясь стены руками, коленями, носками ботинок. Должно быть, все очень просто. Наверняка свет горит, но с другой стороны. Может, они собрались сейчас все вместе в столовой или в кухне. И вдруг стена куда-то провалилась.

Маркус старался не двигаться. Его окружала непроглядная тьма. Провал в стене оказался дверью. Он снова почувствовал: это ловушка! Он не мог припомнить, видел ли раньше эту дверь. А вдруг это совсем не тот дом, в темноте он вполне мог забрести куда угодно. Он слегка толкнул дверь — знакомый сильный запах, только он не

смог его сразу определить, смешался с туманным воздухом. Маркус помедлил. Потом наклонил голову, сделал шаг… и провалился во тьму.

Разница уровней была в сущности небольшая, но Маркусу показалось: он провалился в глубочайшую яму. Дверь затворилась. Он остался лежать на неровной поверхности, в полной темноте. Это было похоже на внезапное нападение. Минуту Маркус лежал совершенно неподвижно, в страхе и растерянности. Вполне вероятно, его ударили и толкнули сзади. Потом он похолодел от мысли, что задохнется. Тяжело дыша, он попытался сесть. Внизу под ним все время что-то шумело. Наверняка это никакой не дом. Наверняка он свалился в какую-то канаву или шахту, а значит, скоро задохнется от ядовитых испарений. Ему удалось сесть. Теперь надо было успокоиться. Втянув воздух, он понял, что это за запах. Просто уголь! Так вот куда он попал — в угольный подвал дома.

Чувствуя невероятное облегчение, Маркус начал осторожно перемещаться по угольному склону. Спина у него очень болела, и с ногой что-то приключилось. Растерев руки и ноги, он постепенно вновь ощутил свое тело. Густая тьма стала его тревожить. Он порылся в кармане,

отыскивая спички. Если это и в самом деле угольный подвал, то из него непременно должен быть выход в дом. Он чиркнул спичкой и поднял ее.

Секунду назад ему казалось, что он находится в обширной, как амфитеатр, черной пустоте. Сейчас стены надвинулись со всех сторон, и потолок грозил лечь на голову ему, вскарабкавшемуся неуклюже на кучу угля. В этой клетушке он казался великаном. Он увидел свою дрожащую черную руку и угол стены, увешанный слегка трепещущей паутиной. Спичка погасла, но он успел заметить другую дверцу. Она обнаружилась чуть сбоку от него, на некоторой высоте. Через минуту Маркус на четвереньках вполз в дом пастора.

Но и тут его встретила все та же чернильная тьма. Он с трудом встал на ноги и начал ощупью двигаться, пока не коснулся какой-то стены. Прислушался и как можно тише пошел вперед, одной рукой держась за стену, другой — ощупывая пространство перед собой. Собственное дыхание казалось ему оглушительным. Вытянутая рука чего-то коснулась, отпрянула и коснулась опять. Он понял, что это дверь. Нашел ручку и очень медленно отворил эту дверь, за которой опять было темное пространство. Он прошел немного и снова нашарил спички. И вдруг совсем рядом

раздались голоса.

Один голос (он узнал Пэтти) сказал: «И совершенно бесполезно опять звонить на станцию».

Другой (кажется, это была Мюриэль) возразил: «Но почему же? Мы не так часто их беспокоим».

— Ну вот и звоните! Это не только у нас. По всей округе темно. К чему поднимать шум?

— Неужели так трудно купить свечи…

— Хорошо, куплю…

«Пэтти», — произнес Маркус, вернее попытался произнести. Вместо голоса получился какой-то хрип. Спичка в его руке вспыхнула и тут же погасла.

В пространстве перед ним повисло молчание. Потом раздался испуганный шепот Пэтти: «Там кто-то есть».

— А мы сейчас проверим, кто там есть.

Спичка зажглась невдалеке. Маркус двинулся к свету. Он хотел, чтобы его узнали.

— Ой! Там какой-то черный человек. Он машет руками.

— Не мелите чепухи, Пэтти. Господи, это дядя Маркус!

Когда спичка погасла, Маркус смутно различил недалеко от себя тех, кто говорил. Он шагнул вперед. Потом раздалось какое-то бормотание, кто-то

прошел во тьме. Прошуршала тяжелая ткань, и тьма перед ним как бы сместилась. Чья-то рука коснулась его, схватила за рукав, сжала запястье.

— Маркус.

— Карл.

Это было похоже на поимку преступника. Но Маркус покорился с величайшим облегчением. Чувство вины и страха полностью оставило его.

— Пойдем наверх, Маркус. Твой приход застал нас врасплох.

Его взяли за руку, и он, спотыкаясь, пошел наверх, по ступенькам. Материя сутаны мешала ему, на каждом шагу касалась его коленей и бедер. «Когда-то мать вот так же вела меня», — эта мгновенная мысль на секунду ослепила его. Оказавшись наверху, он понял, что шел с закрытыми глазами. Его провели через какую-то дверь, и она тут же за ним закрылась. Руку отпустили.

— А свет скоро включат? — спросил Маркус. Это прозвучало как-то по-детски жалобно.

— Да, скоро.

Маркусу казалось, что тьма уже долгие часы окружает его. В этой комнате она была бархатная, без единого проблеска. Хотелось смахнуть ее с лица, как паутину.

— Карл, я так рад тебя видеть.

— Довольно странное замечание в этой обстановке.

— Карл, что это все время шумит?

— Поезда метро.

— Позволь мне увидеть себя.

— От тебя пахнет углем, и это говорит о пути, которым ты проник сюда.

— Я смущен, Карл, я ужасно смущен…

— Не волнуйся, мой милый Маркус. Я только опасаюсь, что ты запачкал одежду.

— Бог с ней, с одеждой. Ну скажи, почему ты прячешься от меня?

— Нам нечего сказать друг другу.

— Этого не может быть, это не так, — проговорил Маркус. Тьма болезненно давила на него. Ему казалось, что она заполняет его череп. Чтобы прекратить это ощущение, он плотно закрыл глаза. — Ты же мой брат, — произнес он, словно выдавил из себя заклинание.

— Несколько условное представление.

— Это не представление, а реальность! — Маркус заморгал, и из глаз его заструились черные слезы. Он протянул вперед невидимую руку. Рука окунулась в пустоту, и он едва не упал. — Не говори так, Карл. Я должен увидеть тебя и Элизабет.

— Элизабет больна. Она не принимает посе-

тителей.

— Но я не посетитель. Я ее опекун.

— Тебе никогда не удавалось ничего для нее сделать. Несколько писем за долгие годы — на большее тебя не хватило. Никакой ты не опекун.

— Опекун! Опекун! — выкрикнул Маркус. В этом крике прозвучало отчаянное стремление утвердить свое собственное существование.

— Твой визит не принес бы ей ничего, кроме огорчения. Она живет мечтами, далеко отсюда.

— Что ты хочешь этим сказать? Что она стала странной… неуравновешенной… что?

— Какой у тебя затейливый язык. Нет, нет. Просто у нее свой мир.

— Но я должен убедиться…

— Тебе не кажется, что ты становишься излишне навязчивым?

Раздался смешок, мягко прошуршала тяжелая ткань. Маркус отпрянул.

— Прости, Карл. Стыдно признаться, но мне страшно. Я хочу, чтобы зажегся свет. Странно говорить в темноте. Я теряюсь. Карл, где ты? Неужели здесь нет ни одного светильника? Свечки? Я, кажется, потерял спички.

Маркус ощупью двинулся вперед. Он хотел найти Карла, хотел коснуться его. Голос Карла

как будто плавал во тьме.

— Стой спокойно, не то разобьешь что-нибудь. Через минуту я провожу тебя за дверь.

— Не терзай меня. Мы увидимся завтра, правда?

— Прошу, Маркус, не пытайся меня увидеть. Я тоже не имею отношения к твоему миру. Некая метафизическая ошибка есть в том, что мы вообще как-то понимаем друг друга.

— Карл, как ты можешь быть таким недобрым, таким нехристианином?

— Ну будет, будет. Считаю, мы не должны опускаться до этого.

— Но ведь ты не перестал верить в Бога, Карл?

— Ты из тех, кто знает, что сейчас ни один интеллигентный человек по-настоящему не верит в Бога. Мне говорили, ты пишешь книгу на эту тему.

— Но ведь это ложь, Карл, все то, что о тебе говорят…

— Не знаю, что обо мне говорят.

— Что ты утратил веру, но при этом продолжаешь…

— Если нет Бога, то тем большая необходимость возникает в пастыре.

— Но, Карл, тут ошибка, ужасная…

— Если там никого нет, то некому возмущаться.

— Ты шутишь. Это все оттуда… мучение… и тьма… и, Карл, я просто не понимаю. О тебе говорят столько странного. Если ты перестал верить, то, безусловно, следует… Нет, нет, ты просто смеешься надо мной.

— Думаю, ты веришь в Бога, Маркус. И, несомненно, веришь в возможность богохульства.

— Тебе необходимо…

— Хватит. Можешь размышлять об осуждении, но это меня не касается. Теперь я тебя провожу.

— Я не верю ни одному твоему слову.

— Тем легче тебе удалиться.

— Нет, нет, нет!

Маркус чувствовал какое-то физическое волнение вокруг себя, как если бы тьма вскипела. Он покачнулся. От долгого пребывания во тьме в нем нарушилось чувство равновесия.

— Карл, где ты? Мне надо хоть на мгновенье прикоснуться к тебе! Дай мне руку! Карл, я здесь. Я протягиваю руку.

Вытянув руки, Маркус продвинулся вперед. И коснулся чего-то холодного, мягкого. Он сжал это и пронзительно вскрикнул. Что-то с шумом опало вниз. Мимолетное прикосновение сутаны.

Смех Карла.

— Что это было? — запинаясь, спросил Маркус.

— Просто морковка. Плоть моей плоти.

— Кажется, мне лучше уйти.

— Отлично. Вот сюда.

Крепкая рука легла на его плечи и подтолкнула сзади.

Оказавшись за дверью, он смущенно припомнил, что в разговоре у него вырвалось имя Элизабет. Но это из-за тьмы. Тьма запугала его. Он сошел по ступеням и остановился, ожидая покорно, пока откроют дверь. Холодный туманный воздух заклубился в проеме.

— Я приду завтра, — смог прошептать он.

— Не приходи. Прощай.

Легким толчком его направили вон из дверей.

Маркус сделал несколько шагов по обледеневшему тротуару. Он услышал, как за ним заперли двери. Ноги у него подкосились, и он как-то плавно опустился, а потом и вовсе сел на землю. И пока он сидел, в доме, он увидел это, зажегся свет.

Глава 8

— Извините меня, это Антея Барлоу из пастората. Вы должны меня помнить. Мне хотелось бы…

— Я вас помню, миссис Барлоу. Если вы хотите повидать пастора, то, боюсь, вам опять не повезло. Он никого не принимает.

— Но, дорогая, поймите. Мне действительно…

— Очень жаль.

Пэтти чувствовала себя несчастной до глубины души. Лондонская жизнь ей не нравилась. Туман и одиночество подавляли ужасно. Теперь она знала, где магазины, но путь туда был долгим и утомительным, а через строительную площадку проходить было вообще неприятно. Однажды она заметила там какого-то человека. Он стоял неподвижно на краю тротуара. Пэтти не знала, как ей пройти мимо. И тут она разглядела, кто это: Лео Пешков неожиданно расхохотался и, подпрыгивая и размахивая руками, исчез в тумане. «Какой противный парень», — подумала испуганно Пэтти.

К тому же роль «стража у ворот» давалась ей все труднее. В том, прежнем приходе, люди уже

свыклись, что Карл очень странный. Здесь же довольно часто она не знала, как отвечать. Карл велел ей никого не впускать. И с этой задачей она справлялась все хуже. Карл решил: когда ее нет, никто другой не имеет права открывать. Поэтому, возвращаясь с покупками, она часто заставала нескольких визитеров, томящихся в надежде, что их впустят. Маркус Фишер продолжал названивать. Миссис Барлоу звонила каждый день. Были и другие, жаждущие встречи с пастором, в том числе какой-то мужчина из какого-то комитета, который после троекратного отказа только еще больше распалился. При всем при том Пэтти не жаловалась.

Пэтти тревожилась о Карле. А тревога эта, как всегда неясная, неопределенная, все росла и росла. В прежнем приходе Карла защищала привычка. Он был «этим чудаковатым пастором», и местные жители как бы даже гордились его причудами. На новом месте он стал еще более странным и в то же время еще более незащищенным. Он выступал, огромный и ужасный, из своего окружения, как единственный ставший видимым посланец какого-то иного измерения. Пожалуй, о нем нельзя было сказать, что он целиком и полностью пребывает внутри дома. И

держа дверь на запоре, Пэтти иногда чувствовала, что защищает существо, которое тут же оказалось бы жертвой обыкновенных людей — просителей, дергающих колокольчик, — если бы они узнали о его существовании. С отвращением и ужасом они раздавили бы его. Но могло случиться и обратное: явление Карла изувечило бы или уничтожило его врагов.

Пэтти понимала, что эти мысли неразумны. Но как ей самой не удавалось защититься от постоянной враждебности этого мира, так не было у нее защиты и для Карла. Угроза шла отовсюду. К тому же она поневоле начинала побаиваться его самого. Он был очень угрюм и постоянно груб с нею. Его разгневало, что она оставила открытой дверь, ведущую в угольный подвал, через которую и проник Маркус Фишер. Она тогда подумала, что это какой-то негр-великан. Карл выругал ее и прогнал от себя. Пэтти потом долго плакала в своей комнате. Она ему не нужна, она ему отвратительна. От правды не уйдешь: она не принимала ванну с тех самых пор, как они переехали. В ванной комнате, находившейся в необогреваемой части дома, было очень холодно.

Пэтти продолжала мечтать. О том, как уедет,

как начнет все сначала. Но все это было в общем-то несерьезно. Мелькало в виде каких-то размытых картинок. Единственная польза от них — хоть какое-то развлечение во время уборки. Новым материалом пополнились эти призрачные видения после рассказа Евгения Пешкова о его жизни в лагере. Пэтти представляла, как она там помогает страждущим и жизнь ее наполняется смыслом. Но кто она, никто не должен знать. Ее слава и венец — все должно оставаться в тайне. Конечно, в ее сердце отложились несколько циничные замечания Евгения о самодовольстве добровольных помощников. Означает ли это, что истинная помощь страдающему неотделима от собственного страдания? По-настоящему добродетельный человек должен творить добро не задумываясь, как творил его Иисус Христос. Евгений сказал: «Для этого надо быть святым». Ну что ж, надо попробовать. Откуда ей знать о собственных возможностях, если она ни разу не пыталась? Хотя кто знает, может, она просто хочет обрести счастье, чистое, без чувства вины, дарящее радость? Может, этим и объясняются все ее мечты? Да, разобраться в этом было нелегко.

Но не только потому Пэтти сомневалась в крепости своего желания обрести святость. Евгений

Пешков занимал все больше места в ее жизни, в ее мыслях. Дружба с Евгением открылась перед ней как некие гигантские врата. Она и сама не заметила, как оказалась внутри. «Узнавание» — для Пэтти это всегда было трудно — сопровождалось тревогами и усилиями, каким-то непрестанным замешательством. В сущности, кроме Карла она никого толком и не знала. Но с Евгением она почти сразу почувствовала себя легко. То, что тут не обошлось без солидарности слуг, «друзей по несчастью», нисколько ее не обеспокоило. Жаль ей было только одного, что она не объяснила, как ее лучше называть. Он звал ее «Пэтти», а ей хотелось — Патриция. Ну ничего, значит, до «Патриции» она еще не доросла.

В Евгении чувствовалась некая уверенность и завершенность, притягивавшая все то, что в Пэтти было разрозненного и замутненного. Он был невероятно полон собой. Какой-то свет исходил от него, может быть, тот, который шел еще с его младенческих лет. Там было средоточие всего, в чем Пэтти нуждалась, чего сама была лишена. К тому же она ощущала, что он чистый человек, и от этого таинственным образом теплело у нее на сердце. Пэтти алкала его чистоты, едва понимая, что это значит. Она всей душой хотела быть

рядом. Евгений олицетворял добрый, ясный, простой мир, из которого она ушла навсегда. Она любила и его страдания, завидовала, что на его долю выпало такое. «Гитлер», «Прага» — от этих названий горести переставали быть бессмысленными. Конечно, в те времена о смысле страданий никто не думал. Но теперь утешительно было сознавать, что кто-то пережил события, имеющие имя. Пробуя рассказать Евгению о своем детстве, она не могла изложить свою историю. Мелькали какие-то бессмысленные отрывки. Его жизнь была пронизана смыслом всегда. Смысл ее жизни таился в будущем, в том времени, когда она станет Патрицией.

Безусловно, она не рассказала Евгению о своих отношениях с Карлом. Это очень беспокоило ее и мешало почувствовать себя полностью счастливой. Что-то очень живое и очень важное в себе она успела вручить Евгению. Но вокруг этого вились старые корни ее связи с Карлом; она была сотворена из этой материи, вплетена в нее. Действительно, как-то ужасно и неизбежно, она была Карлом. Пэтти, подружившаяся с Евгением, лежала, как крохотная беспомощная куколка, внутри настоящей Пэтти. Сможет ли она когда-нибудь открыть это Евгению? Ей не верилось,

что сможет.

Глядя теперь на миссис Барлоу, такую бодрую, энергичную, Пэтти думала об обещании Евгения показать ей море. Станет ли Карл возражать? Странно даже спрашивать о таком. Но, вопреки всему, она надеялась, светло и радостно, что ей-таки суждено вместе с Евгением увидеть море.

— Очень жаль, миссис Барлоу, — повторила она и стала затворять дверь.

— Я рискнула послать ему по почте небольшое письмо.

— Похоже, он не читает писем.

— Ну позвольте мне войти, на секунду. Я принесла кое-что и хочу оставить.

Миссис Барлоу ухитрилась проскользнуть мимо Пэтти. Растерявшись, Пэтти помедлила, но все-таки закрыла дверь. Она быстро оглянулась и посмотрела на лестницу. Темный зал уныло освещался висевшей в центре голой электрической лампочкой, от которой все вокруг становилось невнятным и бесплотным. В холодном водянистом свете вещи казались какими-то призрачными. Плетеные стулья, стол на бамбуковых ножках, сделанный под старину дубовый комод бесцельно толпились вокруг. Пэтти стояла и смотрела на Антею Барлоу. Она знала: Антея

Барлоу — враг.

— Не возражаете, если я сниму пальто? Просто чтобы лучше себя чувствовать, когда снова выйду на воздух. На улице в самом деле сейчас прохладнее, чем обычно. Начинается снегопад. В нем есть что-то волнующее. А вы любите снег?

Только сейчас Пэтти заметила, что сделанное из черного курчавого меха пальто миссис Барлоу покрыто сверху донизу воздушными кристалликами, напоминавшими тончайшее кружево. Пальто тяжело шлепнулось на спинку стула и упало на пол. Пэтти его не подняла.

— Что вы хотите оставить? У меня, извините, много дел…

— Просто букетик подснежников. Маленький подарок для пастора. И к нему небольшая записка. Они прелестны, не правда ли?

Пэтти промямлила что-то. Миссис Барлоу — она смотрелась очень солидно в черном шерстяном костюме, украшенном нарядным поясом с пряжкой в виде корзины цветов, — извлекла маленький бумажный сверток из глубин своего существа. Снежинки на ее меховой шапке, теперь растаявшие, стали похожи на крохотные стеклянные бусинки. Она протянула сверточек Пэтти. К шуршащей бумаге было пришпилено письмо.

Вглядываясь в содержимое свертка, как в сверток с младенцем, Пэтти увидела цветы, хрупкие, как белые льдинки или леденцы. Они издавали чуть слышное благоухание.

— Просто чудо. В народе их зовут цветами «февральской девы». Считается, что они расцветают второго февраля, на Сретенье, в честь очищения Богородицы.

— Милые, — неохотно проговорила Пэтти.

— Эти цветы появляются рано и просто не могут ждать! Думаю, они с островов Силли. Большинство ранних цветов привозят оттуда. Маленькие глупышки. Так я всегда называю их!

— Благодарю, миссис Барлоу, но теперь…

— Ну пожалуйста, позвольте мне остаться еще на минуту. Я вас не задержу. Но мне о стольком надо спросить. Вам известно это воззвание о восстановлении церкви?…

— Нет.

— А, понимаю. Я думала, отец Карл рассказывал вам об этом.

— Пастор не говорил ничего, — ответила Пэтти. Ее возмутила фамильярность обращения.

— Да, возможно, на эти темы он с вами не говорит. Ну так вот. Есть план — восстановить церковь и направить отца Карла в Америку за

финансовой поддержкой…

— Увы, я ничего об этом не знаю, миссис Барлоу. И теперь я вынуждена попросить вас… — Пэтти боялась: Карл мог не на шутку разгневаться, что она впустила эту суетливую даму. С суеверным ужасом представляла она, как он появляется на верхней площадке и видит пришелицу.

— Но это очень важно. Завтра состоится заседание. Вот почему я хотела бы поговорить с отцом Карлом. Вам не кажется…

— Я прошу…

— Он что, болен?

— Он здоров, — Пэтти с тревогой уловила изменение тона в голосе миссис Барлоу. Безусловно, она была решительной женщиной и не такой уж глупой, как казалось.

— То есть я хочу сказать, может, он немного переутомился? У каждого бывают такие минуты — жизнь кажется тяжким грузом. Все мы страдаем некоторой неуравновешенностью, немного тоскуем, немного…

— Пастор вполне здоров, — повторила Пэтти.

— Мне так хотелось с ним поговорить. Сочувствующий посторонний с некоторым опытом… Возможно, я могла бы помочь, в сущности, я…

— Спасибо, не надо.

— Ах, как мне хочется что-нибудь, хоть что-нибудь сделать.

— Я очень занята.

— Все заняты, особенно мы, женщины. Если бы вы разрешили вам помочь. Помогать — это мое призвание. К примеру, я с радостью повезла бы Элизабет на прогулку на автомобиле, конечно, когда погода улучшится.

— Элизабет? — удивилась Пэтти. Она пристально посмотрела на миссис Барлоу, на ее несколько крупное, безумно восторженное лицо, влажное, раскрасневшееся в относительном тепле дома. — Элизабет? Но откуда вы о ней знаете?

Пэтти уже привыкла воспринимать Элизабет как некий неприятный домашний секрет. Попадались люди, которые вообще не подозревали о ее существовании. Карл говорил: «Так будет лучше». Евгений и тот до сих пор не знал, что в доме живет еще одна девушка. Пэтти старалась не произносить даже имени Элизабет отчасти еще и потому, что так звали пропавшую сестру Евгения.

— О, ну, приходские слухи, знаете ли. Тут ничего нельзя скрыть. Просто компания старых сплетников — вот кто мы такие.

— Странный какой-то приход. Безлюдный. Не

могу понять, как же…

— Элизабет, наверняка, чувствует себя не совсем хорошо. Такая жизнь не для молодой девушки. Я с радостью буду приходить, беседовать с ней.

— Мне кажется, вам лучше уйти, миссис Барлоу.

— Что и говорить, у нее есть и Мюриэль, и вы. Почти семья. Вы, должно быть, очень преданы отцу Карлу. Я не сомневаюсь в этом, Пэтти. Можно мне так вас называть? Ведь мы уже много раз виделись. Вы служите в доме отца Карла уже давно, так ведь?

— Берите свое пальто! — Пэтти швырнула мокрый меховой куль на грудь миссис Барлоу и широко распахнула дверь. Снаружи почти совсем стемнело. Несколько снежинок опустилось на лежащий у двери коврик.

Антея Барлоу надела пальто. «Я, конечно, сумасбродка, — вздохнула она. — Но вы привыкнете. Все привыкают».

Она улыбнулась Пэтти и протянула ей руку. С надеждой, как видно, на искренне дружеское пожатие. Но Пэтти сделала вид, что не заметила.

— Я загляну снова, — тихо сказала миссис Барлоу.

Она шагнула во тьму и вскоре растворилась среди едва различимого движения хлопьев. Пэтти заперла дверь. Прислушавшись, она с облегчением различила доносящиеся сверху звуки сюиты из «Щелкунчика».

Она развернула букет и бросила обертку вместе с письмом миссис Барлоу в корзину для бумаг. Карл не узнает о дерзкой посетительнице. А цветы она подарит Евгению. Пэтти засмотрелась на подснежники. Полосочка светлейшей, прозрачнейшей зелени шла вдоль зубчатого края поникшего белого цветка. Цветы казались неожиданно одухотворенными, присутствующими. Пэтти глядела на них удивленно. Так вот они какие — *цветы.* Благодаря им образовалась в веренице темных дней какая-то пауза, просвет, сквозь который Пэтти увидела непередаваемо больше, чем приближение весны. Призыв к заблудшей душе, плач в вечерней росе, небесный свет льется и возрождается в лепестке.

Осторожно прижимая цветы к груди, она подошла к окну. Отсюда, изнутри, мороз нарисовал на стекле сложный узор. Процарапав отверстие в сахарном инее, Пэтти выглянула на улицу. Снег, едва различимый в желтоватой тьме, падал теперь сплошной стеной; снежинки медленно

вращались на лету, создавая вместе огромный изменчивый узор, слишком сложный для глаза, охватывающий тело какой-то гипнотической лаской. Весь мир тихо кружился и изменялся. Пэтти в изумлении долго глядела на снег.

Вдруг позади, в доме, раздался громкий протяжный крик, захлопали двери, застучали шаги. Кто-то настойчиво выкрикивал ее имя.

Евгений ворвался в зал, размахивая руками.

— Пэтти, Пэтти! Она исчезла!

— Кто?

— Моя икона, ее украли! Я не запер дверь! Ее украли!

— Бедный, бедный, — проговорила Пэтти. Она протянула к нему руки. Он подбежал, и она обняла его. Подснежники были смяты. Где-то высоко в темноте содрогались голова и плечи. Она вдохнула аромат погибших подснежников. Обнимая Евгения, она все повторяла: «Бедный, бедный, бедный».

Глава 9

Паточный пирог был коричневого цвета, с хрустящей корочкой, золотистый, сочный и рассыпчатый. Епископ равномерно намазал свой кусочек кремом и украдкой облизал палец. «Не надо преувеличивать», — сказал он.

Маркус уныло глядел на пирог. Его любимое лакомство. Но сегодня у него не было аппетита.

После визита к Карлу чрезвычайная тревога ни на миг не отпускала его. Он воображал, что его дерзость сама собой приведет к какому-то освобождению, к мгновенному умиротворению. Мало того, он надеялся, по наивности, идущей прямиком из детских лет, что Карл приберегает для него, как бесценный подарок, некое совершенно особое утешение. Но из темноты явилось еще более страшное, потому что было необъяснимым, волнение. Полная тьма — это неспроста. С этого момента его стремление увидеть брата стало неотделимым от болезненного опасения, что он найдет Карла чудовищно изменившимся, изуродованным. Карл и Элизабет — огромные призрачные фигуры — преследовали его в снах.

Они что-то делали, но потом, проснувшись, он не мог вспомнить, что именно. Раньше, по крайней мере, он думал о них как о двух отдельных существах. Теперь они настойчиво являлись ему — и он не мог понять причины — как нечто единое. И в этой новой связи, в этой новой структуре было что-то от perpetuum mobile. Принцип действия этой машины, дергающей его туда-сюда, ускользал от Маркуса, но он чувствовал: тут существует какая-то связь с замечанием Карла, что Элизабет «живет мечтами».

Маркус не знал, зачем это было сказано, но он не верил, даже мысли не допускал, что Элизабет могла лишиться рассудка. Но зато неясно и тревожно, как громадное, поднимающееся из черной воды нечто, укреплялось в нем убеждение, что Карл рассудка лишился. А ведь никогда прежде, ни на секунду, хотя Нора постоянно об этом твердила, он не верил, что его брат — сумасшедший. Но если это не безумие, то что же? Тогда напрашивается другое объяснение.

Такие мысли никогда прежде не посещали Маркуса, и он изумлялся, как далеко он зашел, точнее, как далеко его завела эта насильственная встреча с Карлом. Он отнесся бы рационально к любой возможности, к любому допущению, будь

то безумие или нечто похуже, если бы это касалось только Карла. Но Элизабет… Ее причастность делала ситуацию мучительно неразрешимой, способствовала работе того механизма, который теперь не давал ему покоя. Ему отчаянно хотелось увидеться с Элизабет. Образ ее пылал в его сознании — ослепительное средоточие чистейшей чистоты. Он не столько полагал, что ей нечто угрожает, сколько испытывал… какую-то чудовищную ревность.

Все-таки не надо было рассказывать Норе об этом происшествии. Конечно, он сказал просто: «Состоялся разговор». То есть без всякой попытки передать атмосферу. О тьме тоже почему-то умолчал. Но даже учитывая все это, наговорил он многовато. Разумнее было скрыть это в себе и дать совершиться в тайне процессу обдумывания. А Нора разразилась бранью, вот и все. Она поняла все на грубейшем уровне и от всей души радовалась, что получила еще одно, как ей казалось, окончательное доказательство собственной правоты.

— По моему мнению, епископ, я нисколько не преувеличиваю, — возразила Нора.

У епископа были маленькие ручки и ступни, и свежее мальчишеское лицо. Маркусу резало

слух, что Нора называет его «епископом». Сам он употреблял обращение «сэр», хотя вскоре с какой-то неприязнью понял, что епископ, возможно, моложе его. Маркус был еще в том возрасте, когда обидно, если кто-то младший занимает более высокую должность.

— Насколько я понимаю, — продолжала Нора, — это вопрос ответственности перед людьми, не говоря уж о самой Церкви. Чрезвычайно опасно, когда такая власть сосредотачивается в руках столь неуравновешенного человека. Что угодно может случиться. Должен существовать церковный механизм хотя бы для расследования случаев такого рода.

— Увы, увы, кто в наши дни способен рассудить: тот безумен, а этот здоров? Кто без невроза, пусть первый бросит камень! До чего восхитительный пирог! Мало сейчас найдется охотников возиться со столь сложным кулинарным произведением.

— Вы спрашиваете, кто способен рассудить? — Нора начинала чуть сердиться на епископа. — Отвечу: я способна. Терпимость может слишком далеко завести и, по моему мнению, уже завела. Следует назвать вещи своими именами. В данном случае перед нами человек и безумный, и порочный.

— Возможно ли… то и другое одновременно? — спросил Маркус. Он никак не мог толком включиться в разговор.

— Несомненно, я считаю Карла своего рода чудаком, — сказал епископ. — Англиканская Церковь вообще славится своими чудаками. В XVIII веке…

— Мы, слава Богу, живем не в XVIII веке, — заметила Нора.

Маркуса задело, что епископ назвал брата «Карл», хотя они встречались всего два раза.

— Ни к чему так тревожиться, миссис Шедокс-Браун. Как сказано у Псалмопевца: «Сыны человеческие — только суета»[10]. Иначе говоря, все откроется в свое время! Нет, благодарю, не надо больше пирога. Я и так чересчур много съел. Пожалуй, немного вот этого восхитительного мягкого сыра.

— А я думаю, что какой-то шаг необходим, — сказала Нора, проворно пододвинув епископу сыр. — Естественно, сначала мы решили посоветоваться с вами. Маркус должен предпринять что-то в отношении Элизабет. В конце концов, он опекун, и ему нельзя запрещать видеться с ней.

---

[10] Примечания: 10
Псалом 61:10.

Несомненно, я предам это дело гласности.

— По-моему, не стоит торопиться, — сказал Маркус. Он был встревожен, огорчен и почти напуган представшей перед ним картиной: Нора, судьи, может, даже полиция вмешиваются в его отношения с Карлом и Элизабет, такие личные, такие, особенно теперь, таинственные. Он сожалел, что с самого начала не воспрепятствовал Норе.

— Я согласен с Маркусом, — сказал епископ. — Огласка и шум могут нанести вред, и потом трудно будет что-либо исправить. Вы не против, если я налью себе еще этого превосходного кларета?

«О, так я теперь Маркус, — подумал Маркус. — Епископ прыткий человек. Служба обязывает».

— Думаю, все будет понято именно так, как нужно, — сказала Нора. — И странно, вас не удивляет это признание Карла, которое он сделал Маркусу? Что он утратил веру?

— Вера — это столь личное дело, особенно в наши дни, — невнятно возразил епископ.

— Возможно, он просто подшутил надо мной, — поспешил добавить Маркус.

— Вы прекрасно знаете, что нисколько он не шутил, — сказала Нора. — Он циничен до мозга

костей! Подумать только, пастор спокойно сообщает, что не верит в Бога!

— Да простится мне такая фривольность, но я замечу: важен тон, которым это было сказано! Я слышал, Маркус, вы пишете книгу на эту тему?

— Ваши сведения не совсем точны, сэр, — сказал Маркус. Он чувствовал себя школьником, которого вынуждают отвечать, и с раздражением отмечал свои стандартные ответы. — Я пишу не о Боге. Я пишу о морали. Хотя действительно собираюсь посвятить главу онтологическому доказательству.

— Прекрасно, прекрасно. Единственное приличное доказательство во всей теологии, с моей точки зрения, только не ссылайтесь на меня! Я так рад. Помощь нам всем необходима.

— Но я не христианин, — возразил Маркус.

— Ну, вы знаете, это прежде границы отличались строгостью, теперь же все нарушилось. *Страсть*, говорил Кьеркегор[11], не так ли, *страсть.* Это нельзя не учитывать. Мы должны помнить — Дух Святой дышит где хочет. Не ветер, а мертвый покой — вот что такое Безбожие.

— И все же между верой в Бога и неверием

---

[11] Примечания: 11
Кьеркегор Серен (1813–1855) — датский теолог, философ, писатель.

разница есть, — сказала Нора.

— О, несомненно. Но, возможно, отличие это не в том, в чем мы раньше полагали. О нашем времени мы должны думать как о своего рода промежутке…

— Во что бы Карл ни верил, — сказал Маркус, — он, конечно, верит страстно.

— Замечено верно. Я тоже рискну предположить, что ваш брат — человек глубоко верующий.

— Чепуха, — воскликнула Нора.

— Вот только во что он верит? — спросил Маркус. — Это еще вопрос, не так ли?

— И да, и нет, — сказал епископ, тонким пальчиком сцарапывая со своего кольца крошку сыра.

— А как же Иисус Христос? — спросила Нора.

— Нашу эпоху, я уже говорил об этом, следует рассматривать как промежуток, — чуть нахмурившись, сказал епископ. — Это время, в некотором смысле, роста человеческого. Особая историческая природа христианства ставит интеллектуальные задачи, которые в то же время являются задачами духовными. Многое из теологической символики, в ранние, более простосердечные времена способствующее постижению, в наш ученый век становится пре-

пятствием на пути веры. Эта символика сейчас положительно сбивает с толку. Символика, которую мы используем, должна измениться. В этом нет ничего нового. Это необходимость, которую Церковь всегда понимала. Бог живет и творит в истории. Мифология изменяется, внутренняя правда остается неизменной.

— Вы не вполне ответили На мой вопрос, — сказала Нора, — ну да ладно. Думаю, если вы собираетесь уничтожить Иисуса, лучше сказать об этом ясно. Религия — это миф.

— Ни один мистик никогда так не думал, а кто верил сильнее их? «Смиренная тьма будет твоим зеркалом». Все, приближавшиеся к Богу, говорят о тьме, даже о пустоте. Символы рушатся. Глубочайшая правда заключена в этом. Служение Богу должно быть служением без прикрас, покорностью, в каком-то смысле, нулю.

— Пожалуй, лучше признать, что его нет, и на этом покончить, — сказала Нора. — Но в таком случае не превратимся ли мы все в мистиков?

— Наше время — время суда. Ибо много званых, а мало избранных. Церковь ждут глубочайшие перемены. И чаша еще не восполнилась. Мы мучительно нуждаемся в вере. Но Господь возвратит пленение народа своего.

— Может и так, — сказала Нора. — Мне, однако, думается, что в наш век надо побольше говорить о морали и поменьше о Господе.

— Я говорю, конечно, не о личности, — улыбнулся епископ. — Без личности можно и обойтись. Даже надо обходиться. То, что мы сейчас переживаем, есть не разрушение, а очищение веры. Несомненно, дух человеческий наделен глубочайшими потребностями. Поймите меня правильно, когда я говорю, что морали недостаточно. В этом заключалась ошибка Просвещения — считать Бога не более чем гарантом морального порядка. Наша потребность в Боге, в некотором смысле, превыше морали. Кто хоть немного знаком с современной психологией, знает, что это не пустые слова, а реальность. Мы стали менее наивны в отношении добродетели. И в отношении святости тоже. Мерой человека как духовного существа является не его условная добродетель или греховность, искренность в стремлении к Богу. Вспомните, как Иегова ответил Иову: «Где был ты, когда Я полагал основания земли?»[12] Это аргумент, к морали отношения не имеющий.

— Мне всегда казалось, что это очень плохой

---

[12] Примечания: 12
Книга Иова 38:4.

аргумент, — сказала Нора. — Добродетель — это хорошее поведение, и мы все знаем, в чем его суть. Думаю, люди играют с огнем. Еще кофе?

Такой поворот разговора огорчил Маркуса. Ему не нравилось, что епископ высказывает подобные взгляды. Он был возмущен. Теперь он понял, до чего же ему хотелось, чтобы все шло согласно традиции. Он не верил в искупление кровью Иисуса, не верил в Отца, и Сына, и Святого Духа, но жаждал, чтобы другие верили. Он хотел, чтобы поблизости от него, около него продолжалось старинное устройство. Чтобы иногда можно было протянуть руку и прикоснуться. Но вот оно что — оказывается, то, прежнее, незаметно размонтировали. Кто-то там решил, что Бог не личность, что Иисус Христос, в сущности, не так уж важен. Все это не могло не пугать.

Нора что-то говорила, протягивая ему чашку с кофе. Корабельная сирена гудела на реке, где-то там, в туманной тьме. Теплая, хорошо освещенная, плотно зашторенная комната вдруг закружилась. Маркус схватился за стол. «Ну, а если, предположим, — обратился он к епископу, — предположим, истина человеческой жизни оказалась бы чем-то ужасным, гибельным для осмеливающегося созерцать ее? Ведь вы отнима-

ете все гарантии».

— Тут как раз очередь за верой, — усмехнулся епископ.

— Бессмысленное предположение, — заметила Нора. — Вот ваш кофе.

Глава 10

Мюриэль бросила последний листок на пол и посмотрела на Элизабет. Она прочла около двадцати строф и очень растрогалась от собственной поэмы. Ближе к концу ее голос уже дрожал от волнения.

Они сидели на полу, около камина, в комнате Элизабет. Шезлонг, к которому прислонилась Элизабет, был повернут к огню и создавал уютную замкнутость. Мюриэль, сидевшая напротив китайской ширмы, выключила настольную лампу, горевшую у нее за спиной. Пламя достаточно освещало комнату, бросая быстрые золотистые отблески на лицо Элизабет, заставляя тени метаться под потолком. Еще не стемнело, но шторы были задернуты.

Какое-то время длилось молчание. Потом Элизабет сказала:

— Это как-то неясно, верно?

— Ничего подобного, здесь нет и половины тех неясностей, которыми напичкана большая часть современных творений.

— Ты составила какой-нибудь план произве-

дения?

— Нет. Я же тебе говорила. Оно просто растет.

— Интересно все же знать направление.

— Мне не интересно.

— Кажется, ты влюблена.

— Я не влюблена! Мы же об этом говорили.

Мюриэль ужасно хотелось, чтобы Элизабет сказала: поэма талантливая. Ей хотелось услышать только это. Но она видела и чувствовала, так остро, словно это было физическое излучение, что Элизабет с тупым, полуосознанным упорством теперь станет говорить о чем угодно, только не о ее, Мюриэль, поэме.

— А, ерунда все это! — Мюриэль резко поднялась, кое-как подобрала разбросанные листочки и бросила их за шезлонг. — Не сердись, Элизабет, — сказала она.

Но Элизабет будто ничего не видела. Она пристально смотрела на огонь. Глаза ее расширились от какого-то затаенного удивления. Она пошевелилась беспокойно, покачиваясь всем телом, поглаживая ноги. Протяжный вздох перешел в зевок. «Мда-а», — протянула она как бы про себя. Мюриэль наблюдала за ней с раздражением. Она ненавидела минуты, когда Элизабет «отключалась». Ей казалось, что в последнее время таких

минут становится все больше. Какая-то холодная отстраненность, какая-то неопределенность надвигалась подобно облаку и окутывала кузину. Руки и ноги у нее начинали слегка подергиваться, взгляд становился рассеянным, воля оставалась только как животная решимость — уклоняться от общения, отвергать вызов. Все угасало в ней в такие минуты, кроме одного — мягкого, прохладного, воскового цвета ее красоты. Было все же что-то до ужаса привлекательное в этой, умирающей на какие-то мгновения, Элизабет.

Хороша ли поэма? — гадала Мюриэль. Можно ли по-настоящему оценить то, что сам создал? Она хорошо сознавала это золотое сияние идеального устремления, для художника частенько переплетающееся с достигнутым настолько прочно, что трудно отделить контуры сделанного от мерцающего света того, что мог сделать. Иногда ее охватывало чувство, что ее работа хороша, чувство, возможно, куда более важное, что она выбрала правильный путь, что владеет техникой и знает, как добиваться совершенства. Теперь, говорила она себе, я больше не какая-то бумагомарака, пишущая наобум. Я уже знаю, как надо работать — постоянно и терпеливо, как плотник или сапожник. Сейчас я уже могу разбирать и

перекомпоновывать свои лучшие обороты без суеверного страха их испортить. Даже дерзаю настаивать — приказывать образам являться из тех темных областей, где они парят подобно волшебным воздушным змеям. Временами ей дано было все это чувствовать. Но вдруг, и без особых причин, все превращалось в прах. Есть склонность к версификации, но не более того, и высот поэзии вряд ли когда-нибудь достигну, даже если буду трудиться от зари до зари.

Мюриэль сначала потешила, а затем и встревожила настойчивость, с которой Элизабет утверждала, что она, должно быть, влюблена. Элизабет повторяла это постоянно, через равные промежутки времени, под влиянием, быть может, рассеянности или мимолетной эйфории. И каждый раз при ее словах в Мюриэль рождалось чувство, что Элизабет просто боится, как бы она действительно не влюбилась. В прошлый раз удалось убедить кузину, что это не так, и тема была закрыта. Сейчас Элизабет оказалась более настойчивой. «Ну в кого, скажи на милость, я могу влюбиться?» — вопрошала Мюриэль. Элизабет смотрела на нее загадочно и позднее, прервав чтение поэмы, заметила: стихи и есть доказательство влюбленности.

Мюриэль долго размышляла о своей любопытной встрече с Лео Пешковым. Со времени той сцены у реки он мелькнул перед ней всего лишь несколько раз, и она подумала, что он или уехал, или нашел себе другую компанию. Сценка сама по себе увлекла, даже взволновала ее своей режущей яркостью, какой-то эксцентричностью, а эксцентричности как раз, она чувствовала, и не хватало в ее жизни. Что касается мальчишки, то к нему она осталась абсолютно равнодушной. Его физическая молодость отталкивала ее, дерзость и цинизм тоже. В характере Мюриэль была своего рода важность, требующая при знакомстве неторопливости, сдержанности, церемонности. Если она знакомилась с кем-то, кто был младше ее, то чувствовала себя главной. Она не могла простить Лео, что он застал ее как бы врасплох, хотя это ее несколько позабавило. Она готова была позволить Лео смешить себя, готова была восхищаться его красотой, как можно восхищаться красотой животного или произведением искусства. В остальном она находила его «зеленым», и сердца ее он не затронул.

Когда Элизабет снова произнесла «ты влюбилась», Мюриэль с удивлением поняла, что видит перед собой образ… Евгения Пешкова. Конечно,

о влюбленности и речи быть не могло. Какой-то швейцар-неудачник, по возрасту годящийся ей в отцы, да и говорила она с ним всего несколько раз. И все же именно от него, от Евгения шло какое-то тепло и наполняло дом. Какая-то притягательная ясность была в нем, какая-то светлая простота. Он, наверное, из того мира, где любят без оглядки, где смеются счастливо и свободно, где пес пробегает улицей. Вход в этот мир был для Мюриэль накрепко закрыт. Иногда она с тоской думала, что именно из-за одиночества от нее ускользает поэзия. Как бы ни называлась эта преграда, Евгений находился по другую сторону, знаменуя собой все то, к чему так стремилась Мюриэль и что природа не позволяла ей обрести. Он вскользнул в ней чувства своей бесхитростностью. Ей нравились его обвисшие усы, его старомодная вежливость и странная манера кланяться, его широкое добродушное лицо и его чрезвычайно заношенные вельветовые брюки. Он воплощал совершеннейшую безобидность и дружелюбие, как русский домашний дух, домовой, изображение которого она видела когда-то в книге по мифологии. Мюриэль также тронула история его жизни. Она до глубины души сочувствовала ему и очень расстроилась, узнав о похищении

его любимой иконы. Ей все больше хотелось прикоснуться к нему, погладить, успокоить. И все же это была не любовь, а просто… желание познакомиться поближе с милым человеком. Раз или два она заставала у него в комнате Пэтти, и это ее как-то необъяснимо раздражало.

Позади мечтательной головки Элизабет, дремотно прикрывшей глаза, почернела, временами вспыхивая, как труба из золоченого алюминия, ваза с цветами, хризантемами, присланными Элизабет дядюшкой Маркусом. Девушки сочинили уже множество благодарственных открыток, всякий раз все более остроумных, но так ни одной и не послали. Элизабет питала особое отвращение к хризантемам. Мюриэль предполагала, что рано или поздно, но им придется встретиться с дядей Маркусом. Элизабет было все равно. А с отцом Мюриэль об этом не говорила, да и вообще ни о чем не говорила с ним уже несколько дней. Она чувствовала, что он никого не хочет видеть. Визитеров, полных решимости прорваться, в том числе и несчастную миссис Барлоу, отправляли ни с чем. На письма не отвечали и фактически не читали их. Мюриэль, хотя и прежде видела отца в подобном состоянии, испытывала неясную тревогу. Не исключено, что ей самой предстоит решать,

как вести себя с дядей Маркусом и Шедокс. Конечно, ни о какой встрече с ними Элизабет, пока Карл не решит, не может быть и речи. А Мюриэль придется с ними встретиться, успокоить, может быть. Но ничто не торопило встречу. Мысль, что предстоит увидеться с Шедокс, всегда немного смущала ее. Она испытывала не только неприязнь к ее непрошибаемому здравому смыслу, но и побаивалась его. Почти невероятно, но могло оказаться, что Шедокс права.

Наблюдая за Элизабет, все еще охваченной какими-то чарами, Мюриэль прислонилась к стене, как раз в том углу, где стена поворачивала, образуя нишу, скрывающую постель. Протянув назад руку, она нащупала место, где была щель. Из бельевой через эту щель, сквозь темную подводную пещеру французского зеркала можно было заглянуть в комнату Элизабет. Мюриэль виновато убрала руку. Она тут же подумала о корсете, и на секунду перед ней возникла картинка: похожая на скелет стальная девушка с головой из металла. Это видение странно взволновало ее. Но она тут же отмахнулась от него и задумалась о болезни Элизабет. До чего же безнадежны в последнее время ее мысли. Не бессмысленно ли верить, что Элизабет когда-нибудь поправится и

сможет жить обыкновенной жизнью?

Они все так привыкли скрывать Элизабет, хранить ее при себе как потайной клад. Не было ли в подобного рода отношении чего-то странного, неестественного? Мюриэль подумала: не потому ли раньше все казалось таким простым и непринужденным, что сама Элизабет помогала им, помогала даже с радостью. Без этого радостного согласия ее положение сильно напоминало бы заточение. Но не изменилось ли что-то неуловимо в последнее время? Может, Элизабет, взрослея, начинала более глубоко осознавать свое положение, свою ужасающую отдаленность от жизни? Может, оценивая все уже более трезво, она понимала, что никогда не вылечится, никогда не станет здоровой и свободной? Отсюда, возможно, рождалась всевозрастающая апатия, мало-помалу убывало тепло. Все это болезненно сказывалось и на Мюриэль. Раньше ее не тяготило замкнутое пространство, и ей не казалось, что она вместе с кузиной попала в плен. Элизабет так долго играла роль беззаботного ребенка, солнечного лучика, поселившегося в доме. И вот теперь она же, но уснувшая, оцепеневшая, какая-то совсем другая, немного даже пугающая.

La Belle Dame sans Merci[13].

Нет, все это глупость. Болезненные шутки воображения. От этого неистребимого тумана у них у всех нервы не в порядке. И все же разве неправда, что Элизабет живет абсурдно изолированной жизнью? Ей надо больше встречаться с людьми, с юношами. Нельзя доводить ее замкнутость до черты, за которой общение превращается в муку. Не должны ли они вдвоем, прежде чем станет поздно что-либо делать, вырваться из этого плена? Мюриэль с удивлением поняла, насколько прочно свыклась с этой метафорой. Откуда они должны вырваться? Чего она боялась? Ведь именно страх заставлял ее мечтать о бегстве, об избавлении, о потрясении, от которого падут преграды и там, где сейчас темно и тесно, станет вдруг светло и просторно.

Оторвавшись от этих мыслей, Мюриэль принялась подбирать с пола листки бумаги. «Милая», — тихо обратилась она к Элизабет.

— А?

— Мне надо пойти купить что-нибудь, а то снова придется есть яйца. Если надумаешь звонить, помни: я буду примерно через час… Я заберу та-

---

[13] Примечания: 13
Немилосердная прекрасная дама *(франц.).*

релки. Ни к чему их оставлять.

— Они мне не мешают.

— Хочешь чего-нибудь вкусненького?

— Нет, дорогая, ничего не хочется.

— Я принесу тебе что-нибудь интересное.

— Ты милая.

— Камин, я думаю, будет гореть нормально. Ведерка с углем не поднимай.

— Интересно, снег еще идет?

— Думаю, нет.

— Я хочу, чтобы повалил густой снег. Он бы, чувствую, прогнал туман. С тех пор как мы здесь, я не смотрела в окно.

— Я знаю, дорогая. Не написать ли тебе дяде Маркусу?

— Может и напишу. Брось мне сигары.

— Чем ты займешься, пока меня не будет?

— Головоломкой. А вообще ничем. Наверное, ничем.

— Я скоро вернусь. Не кури много.

Глаза опять закрылись. Мюриэль тихо вышла из комнаты. Перед бельевой она остановилась. Что происходит с Элизабет, когда она остается одна? Может, как только дверь закрывается, кузина становится совсем другой? Происходит какой-нибудь сдвиг — от пассивности к буйству, от покоя к

отчаянию? А что если подкрасться и заглянуть в щель? Мюриэль приказала себе отойти от двери. Подсматривать подло. Ей нельзя опускаться до этого. Но была и еще одна причина. Она боялась посмотреть.

Мюриэль сунула тарелки в стенной шкаф и пошла к себе в комнату. Там было очень холодно. Она надела пальто, вышла и заперла дверь. После случившейся в доме кражи она всегда запирала дверь, хотя ничего не боялась потерять, кроме поэмы и бутылочки с таблетками, никому, кроме нее, она понимала, не нужных. Она сошла вниз под напряженные звуки увертюры «1812 год». Дверь в комнату отца мягко затворилась, и стало тихо. Образ Элизабет поблек. Мюриэль решила: пойду спрошу Евгения, не надо ли ему чего-нибудь купить. Уже несколько раз она обращалась к нему с этим вопросом. И он всегда отвечал: не надо. Но все равно это был повод его увидеть. Мюриэль сожалела, что со времени ужасной потери иконы у нее не было возможности толком выразить ему свое сочувствие. К тому же именно сейчас ей нужно было успокоение. Успокоение от уверенности, что Евгений здесь, в доме.

Пристройка, где находилась котельная, тянулась в виде лишенного окон коридора тут же за

кухней. Здесь день и ночь горел свет. Запах угля и ладана наполнял этот туннель. Мюриэль прошла по коридору и остановилась перед дверью в комнату Евгения. И тут острая боль пронзила ее. Изнутри доносился голос Пэтти.

— Меня ищешь?

— Нет.

Не оборачиваясь, она сделала вид, что роется в сумке.

— Наверняка меня, — сказал Лео. — Разве не я здесь обитаю? Я, как та принцесса в замке, окруженном рвом, ждал, когда же ты явишься.

Слегка коснувшись плеча Мюриэль, Лео прошел вперед и открыл самую дальнюю дверь. Он встал на пороге, приглашая ее войти. Помедлив, Мюриэль вошла в комнату. Она все еще чувствовала прикосновение Лео на своем плече.

— Ты чего такая хмурая?

— Я не хмурая.

Комната, очень теплая, представляла собой коробку, стены которой были из крошащегося коричневого цемента, и поэтому напоминала пещеру, прорытую в песке. Высоко, почти под потолком, темнело незанавешенное окно. Затемненная кремовым абажуром лампочка распространяла жемчужный свет. Китайские

циновки покрывали пол. На низкий узкий диван был наброшен цветастый индийский ковер. Три деревянных стула стояли в ряд около стены. В одном из углов аккуратной стопкой были сложены книги. У двери стоял гладкий дубовый сундук. На нем лежала вышитая подушка. Две японских гравюры, изображающие мчащихся лошадей, висели над кроватью. На полу лежала шахматная доска. Стола в комнате не было.

Мюриэль с легким удивлением рассматривала комнату.

— А ты аккуратист.

— Тренируюсь. Хочу переделаться в женщину.

— А где же ты выполняешь свою работу?

— Мою что?

— Вижу, ты играешь в шахматы.

— Из деловых соображений приходится притворяться. А ты играешь?

— Не очень.

На самом деле Мюриэль играла хорошо, но никак не могла убедить Элизабет, что и ей надо научиться. Мюриэль сразу решила: с Лео играть не будет. Он может выиграть.

— Мы должны сыграть. Почему бы тебе не присесть? Гости у меня садятся на пол. Стулья просто для красоты.

Лео сел, скрестив ноги, прислонившись к кровати.

Мюриэль опять на миг задумалась. Интересно, Пэтти все еще там, у Евгения?

— Хоть раз скажи мне правду, Лео. У твоего отца в России был какой-нибудь титул?

— Титул? Господи, конечно нет. Не предполагал, что и ты считаешь всех русских эмигрантов титулованными особами.

— Жаль, — сказала Мюриэль. — В нем столько достоинства. Он похож на князя.

— А я? Я похож?

— Ты?!

— Согласен. Я — демократ. Материалист. Поклонник науки. Человек постатомной эры.

— Книги у тебя, смотрю, только научно-фантастические. А какие-нибудь серьезные есть?

— Снес в ломбард. Садись, ты, серьезная девушка. Или боишься?

Поджав ноги, Мюриэль села у стены и взглянула на Лео, который смотрел на нее. На нем были джинсы и белый ирландский свитер с высоким воротом. Что юноша, что комната — у обоих вид чрезвычайно скромный и аккуратный. Мюриэль рассматривала его лицо. Короткий, слегка веснушчатый нос, пухлые губы, глаза лучистые,

ярко-серые. Красновато-золотистые волосы, густые, подстриженные очень коротко и при этом закрывающие шею, поблескивают, как здоровый мех.

— Неплохо выглядишь, — сказала Мюриэль.

— И меня за это ждет подарок?

— С какой стати? Вообще, я вижу, ты жить не можешь без подарков и наказаний.

— Ты же мне что-то обещала.

— Что?

— Себя, допустим.

— Тут какое-то недоразумение.

— Ну хорошо, тогда… дай мне приз за красоту. У меня в жизни так мало радостей.

— Мне нечего подарить.

— Одинокая девушка способна одарить многим. Роза, тайком брошенная из окна, надушенный платочек, слетающий вниз как бы случайно… Да, вот это были времена!

Мюриэль подумала опять, что Лео, очевидно, еще не знает о существовании Элизабет.

— Так о каком же подарке ты мечтаешь?

— Ну, я скромен. Больше всего, конечно, я мечтаю о девственнице. Но если у тебя никого на примете нет, то подари мне… свою туфлю. Лучше не придумаешь. Ведь я когда-то был фе-

тишистом.

Странная мысль посетила Мюриэль. А что если познакомить это прекрасное животное с Элизабет? Идея, даже прежде чем окончательно сформировалась, показалась ей значительной и волнующей. Элизабет спит, заколдованная. Почему бы не разбудить ее? Разбудить именно таким образом.

Но через секунду Мюриэль возразила сама себе: это невозможно, неразумно, опасно. Карл ни за что не согласится. Лео слишком, тут она нашла подходящее слово, живой, грубо, диссонирующе живой. Карл если и одобрял знакомства, то лишь с очень вялыми, очень тихими мальчиками. А в своем нынешнем расположении духа он ни какие визиты не согласится. Кроме того, самой Элизабет по силам ли такое потрясение? Она так привыкла к рутине, к плавной церемонии медленных движений, приглушенных голосов.

Но не здесь ли и таится беда? Элизабет пребывает в замкнутой системе, словно посреди какого-то медленного танца, усыпляющего ее своей монотонностью. Именно от этого она погружается в сон, именно от этого и Мюриэль в последнее время стала чувствовать себя пленницей. Они слишком долго замирали в благоговении пе-

ред Элизабет. Пришло время чего-то громкого и неожиданного, чего-то непредсказуемого и абсолютно нового. Лео именно такой — громкий, неожиданный, непредсказуемый и новый. Мюриэль мысленно поставила его рядом с Элизабет. Что ж, мило.

— Свежий воздух, — произнесла Мюриэль.

— Что?

— Извини. Это так, мысли вслух.

Отец может сильно разгневаться. Но следует ли этого бояться? Пусть наконец произойдет в доме хоть что-то, ускользающее от ежесекундного, пристального, властного контроля Карла, доведенного до того, что они все постепенно превращаются в какие-то тени его мыслей. Элизабет повзрослела, но так и не видела ни одного привлекательного молодого человека. О, прекрасный новый мир!

Несомненно, Элизабет испытает потрясение. Может, даже обидится, что все так неожиданно. Но разве потрясение не пойдет ей на пользу? В конце концов она стряхнет с себя этот убивающий сон. Потрясение — вот, что им всем необходимо. Что-то волнующее, бодрящее. Лео — восхитительное оружие! С ним она, Мюриэль, бросится в бой. Так это война? Ну да, сладостная

война! Предстоит задать взбучку кузине. И хотя у Лео в голове ветер, но для цели, которую она поставила, лучше и быть не может. Лео сыграет в ее игру, в которой, опять же, не должно быть ничего сложного, болезненного, запутанного. Ничего плохого не случится. Лео всего лишь даст возможность Элизабет кое-что пережить. Да и ей тоже.

— Ты говорил, что расстался со своей подружкой?

— Напрочь. Я снова в продаже.

— Допустим, — осторожно начала Мюриэль, — я расскажу тебе о прекрасной девственнице, скрывающейся в темноте дома…

— Говори, да не заговаривайся.

— Ты знаешь мою кузину Элизабет?

— Кого?

— Я не единственная девушка в доме. Есть еще одна, моложе и красивей. Моя кузина.

— То есть здесь, внутри, теперь?

— Да.

Лео вскочил. Вид у него был изумленный, почти испуганный.

— Другая девушка? Правда?

— Да, Лео, правда.

— Нет, ты шутишь.

— Не шучу.

— Но почему же я ее не видел?

— Она была немного нездорова. Так, ничего серьезного, просто побаливала спина. Сейчас она предпочитает не выходить из комнаты.

Корсет. Сказать ли о нем Лео? Что-то странно волнующее было в этой мысли.

— Но почему она прячется? Зачем ей нужна эта тайна?

— Нет никакой тайны. Это чистая случайность, что ты до сих пор не слышал о ней.

— Какой-то странный звук колокольчика иногда слышится. Это она?

— Она.

— Девушка с колокольчиком. Сколько ей лет?

— Девятнадцать.

— И она действительно прекрасна?

— Сказочно прекрасна.

— И девственница?

— Да. Она почти не видела мужчин.

— А она знает обо мне?

— Знает, — уклончиво ответила Мюриэль.

Лео как будто успокоился.

— Веди меня к ней!

— Не так быстро, — остановила его Мюриэль. — Сначала ты должен кое-что мне пообещать.

— Проси что угодно.

— Обещай не самовольничать и во всем меня слушаться. Элизабет ведет замкнутый образ жизни. С ней следует вести себя очень мягко и учтиво.

— Что значит — учтиво? Я что, даже не смогу ее поцеловать?

— Мы решим, что тебе можно. Ты поймешь, что она вовсе не похожа на девчонок из твоего колледжа.

— Но ты же не собираешься все время торчать рядом?

Об этом Мюриэль не подумала. И теперь мысль, что она будет все время рядом, показалась ей даже привлекательной. Но ведь ничего серьезного и не должно случиться.

— Нет, конечно. Если ты будешь себя хорошо вести.

— Надеюсь вести себя не слишком хорошо.

— Но ты обещаешь меня слушаться?

— А, хорошо. Обещаю.

— Теперь вот что. Ты не должен быть увлечен никем другим. Элизабет заслуживает полного внимания, иначе это все бессмысленно. Помнишь, ты просил у меня денег на одно дело? Ну, как там? Кстати, правда ли все это?

— Ах, это. Все в порядке, девица свободна. И уже развлекается с другим.

— Откуда же ты взял деньги?

Лео взглянул на нее и тут же резко отвернулся. Он пошел в угол и прижался лбом к стене.

— Ну, Лео.

— Можно признаться?

— Да. Я все пойму.

— Никому не расскажешь?

— Посмотрим.

— Ты видела эту старую религиозную картину, о которой папа так печется? Я ее украл и продал.

— Боже! — воскликнула Мюриэль и стремительно поднялась с пола.

— Мерзко, правда?

— Да что ты за существо такое!

— Я думал, тебе все равно, — покосился на нее Лео. — Ты ведь мне сама подсказала, чтобы я украл что-нибудь.

— Да не о такой краже шла речь. Украсть такое, украсть у собственного отца, украсть то, что он больше всего любил…

— А римско-католическая церковь утверждает, что если дети что-то берут у родителей, то это нельзя считать кражей. Смотря как подойти.

— Ты прекрасно знаешь, что это кража.

— Ну значит, у отцов воровать не грех.

— А он знает, что ты взял?

— Конечно, не знает. Какой смысл ему об этом говорить? Он бы только раскричался.

— Впервые встречаюсь с такой низостью и испорченностью.

— А я думал, что ты выше всех этих отживших условностей. И вообще, не такая уж паинька. Правда?

— Не мели ерунды. И за сколько же ты ее продал?

— За сколько надо. Семьдесят пять фунтов.

— И тебе сразу заплатили? Она, возможно, стоит намного дороже.

— Я уже говорил — мне много не надо.

— Ты должен вернуть икону. Вернуть, даже если придется опять украсть.

Лео метнулся из угла и сел на кровать.

— Вот теперь у меня точно шарики за ролики заехали.

— Ты продал ее в магазин?

— Да, роскошный антикварный на Шепард Маркет.

— Молю Бога, чтобы они ее не продали. Ты должен ее вернуть. Лео, как ты мог?

— Очень просто… Я тебе говорил, что мне ну-

жен был широкий освобождающий поступок. Именно такой. К черту отцов.

— Нет, так нельзя. Ты понимаешь, что поступил плохо? Тебе должно быть известно, что из норм морали не так-то просто выпрыгнуть.

— Неужто, Мюриэль? Ты когда-нибудь слышала о квазарах?

— О квазарах?

— Да. Такая разновидность звезд. Ну, не важно. Ты бросаешь взгляд на вселенную, а потом говоришь мне о морали? А вдруг нами управляют откуда-то издалека? А вдруг мы просто головастики в чьем-то пруду?

— Никакие мы не головастики. И у тебя не может не быть совести. Тебе не может не быть стыдно. Не может!

— Ладно, согласен сгореть от стыда, — Лео смотрел на Мюриэль пустыми глазами. — Что я должен сделать?

— Пойди к отцу и все расскажи.

— Как блудный сын?

— Скажешь, что тебе жаль. Тебе должно быть жаль. И ты должен вернуть икону. Каким угодно способом, но вернуть.

— Я и еще кое-что должен сделать. Отправлюсь-ка я к твоей кузине-девственнице.

— О нет, нет, туда не надо.

— Ты же обещала.

— Я не обещала. Это так, сгоряча. Господи, как мне быть. — Мюриэль закрыла лицо руками в надежде отыскать те слезы, которые она расслышала в своем дрогнувшем голосе.

— Слушай, я признаюсь папочке и возвращу эту чертову икону, а ты взамен позволишь мне встретиться с кузиной. Идет?

— Если ты все исполнишь, позволю. Иначе нет. Таково мое решение.

— Вперед! В бой! Я готов. Я заслужу. Я заслужу и то, чтобы узнать, так ли уж прекрасна твоя кузина.

— Лео, Лео, я просто не понимаю. Ну как ты мог причинить такую боль отцу, и намеренно?!

— Квазары, Мюриэль! Квазары, квазары, квазары!

Глава 11

— Ну, мне пора уходить, — сказала Пэтти. — Я здесь уже вечность просидела. Не помню, когда я столько разговаривала. Подумаете еще, что я болтунья. А мне, вообще, больше приходится молчать.

— Не уходите, Пэтти.

— Я должна.

— Когда же вы снова придете?

— Скоро. Да я ведь и так все время в доме. Евгений протянул Пэтти руку. У него вошло в привычку — пожимать ей руку при встрече и на прощанье. Таким образом он получал возможность касаться ее. Вот и сейчас он забрал ее руку в свою и нежно провел пальцами по запястью. Ему не хотелось ее отпускать. Взмахнув рукой и улыбнувшись, она выскользнула из комнаты.

Евгений побродил немного по комнате. Он собрал чашки и блюдца и смел крошки с зеленой скатерти. Пэтти съела четыре пирожных. Он полил растение. С тех пор, как исчезла икона, он поливал его, пожалуй, слишком часто. Листья начали желтеть. Потом он сел и посмотрел на

пустое пространство, где раньше стояла икона.

Где она теперь? Она живет, но где-то в другом месте. Неужели такое возможно? Легче представить, что ее больше нет. Он как будто видел, как она страдает, слабым голосом напрасно зовет его на помощь, плачет таинственными слезами. Глупость все это, конечно, и ребячество. Что такое икона? Всего лишь кусок дерева. Нельзя утрачивать чувства меры и пропорций. Он хотел, чтобы Пэтти помогла ему так думать, но она слишком ему сочувствовала и намеков не понимала. Нет, в обретении здравого смысла Пэтти не помощница. Он должен сам себе внушить: это всего лишь старая картина. Каких только потерь, тяжелейших, не было в его жизни, а ведь удалось пережить. А это пустяк, и нечего ему так страдать. Даже хорошо, что она пропала. Может, он слишком перед ней благоговел? Ведь кроме иконы у него ничего не было. С ней он не так остро сознавал, что давно все утратил.

Да, так и было. Чувство собственности, чувство защищенности не было им утрачено только благодаря иконе. Этот предмет сосредотачивал в себе, символизировал все, что было им потеряно, — его близких, годы, проведенные в России. Пока она была у него, прошлое еще продолжало

жить в нем. Но, может, ему давно следовало раз и навсегда понять, что у него больше ничего нет. Ничего не осталось, нечего хранить. Все, что он любил и ценил, навсегда, безвозвратно исчезло. Какая-то немощь жила в нем, мешая видеть правду. Пусть все уходит, пусть уходит. Он нищий и знает это. Так он себе говорил, но не мог так думать. Икона так долго странствовала с его семьей как милое, доброе домашнее животное. Он не мог не горевать, он не мог не сожалеть. Ему было жалко себя. И хотелось утешения.

Пэтти старалась хоть немного его утешить. Сожалея о потере, она то и дело восклицала, то и дело всплескивала руками. Он путано говорил ей об иконе и незаметно начинал рассказывать о семье, о матери, о сестре. Он и не предполагал, что когда-нибудь в жизни ему доведется об этом рассказывать. От этого Пэтти становилась ему все ближе. Какая-то часть его существа переходила в нее. Но до конца понять его она, конечно, не могла. Пожилой русский эмигрант с Европой в сердце — как она могла понять? Но она знала, что такое унижение; она смотрела на него темными глазами, округленными и увлажненными сочувствием; она улыбалась и кивала ему из гущи своих черных волос; она наклонялась к нему и

вздыхала так, словно сострадание выражалось в физической боли.

Ему хотелось, чтобы она рассказывала о себе, и она рассказывала немного о своем раннем детстве. Но при этом повторяла: я не помню себя ребенком и теперь у меня, взрослой, нет истории. А однажды она сказала так: «Моя жизнь еще не началась». «Со мной она начнется», — мысленно, но с уверенностью произнес Евгений. Ему все больше хотелось коснуться Пэтти. Он прикасался к ней и не только при рукопожатии, но всегда как бы украдкой, как бы невольно — похлопывал по руке, когда что-нибудь рассказывал, проводил рукой по плечу, когда подавал чай. Он думал о том, как бы притронуться к ее волосам. Этими прикосновениями в комнате создавался некий физический контур Пэтти, но мучительно незавершенный, мучительно живой и манящий. Манящими были и ее внимательные глаза, кроваво-красные в уголках, темно-красные в самой их черноте, пылкие в их немом смущенном вопрошающем взгляде. Он догадывался, что начинает потихоньку влюбляться в Пэтти. И тогда вспоминал ее слова, которые она все время твердила: я здесь, в доме; я скоро вернусь. У него есть время, чтобы узнать Пэтти. Она рядом — неизменно,

утешительно, легко.

— О, привет, — Лео сунул голову в щель.

— Входи!

Лео заглядывал редко. Евгений поднялся ему навстречу. Он ощущал некоторую физическую неловкость в присутствии сына, как будто какой-то электрический разряд все время проходил сквозь него и мешал двигаться.

— Ждал тебя целую вечность. Думал, эта тетка никогда не прекратит болтать.

— Я прошу тебя оставить этот тон, — устало сказал Евгений. В который раз он требует этого от Лео.

— Но ей-то от моих слов какой вред? Ладно, прошу прощения. А ты, может, присядешь? Стоишь как-то странно там, в углу.

Евгений сел. Он смотрел на своего высокого, стройного сына с удивлением, которое никогда не исчезало. Вот он какой его сын — большой, взрослый, красивый, дерзкий. Вместе с удивлением исподволь, невнятно подступала боль. Это была любовь, которую он никогда не умел выразить. Они всегда блуждали друг около друга, как слепые. Им не удавалось обнять друг друга, схватиться за руки. На лице сына Евгений прочел отзвук своего собственного удивления — прене-

брежение, пока еще тихое, ощупывающее. Они находились в одной комнате, но как будто невидимые друг для друга, не поддающиеся контролю объекты. Евгений ссутулился.

— Что случилось?

— Мне надо тебе кое-что сказать. Как это принято говорить, сознаться.

— В чем?

— Об этой старой вещице.

— Какой вещице?

— Иконе.

— Нашлась?! — Евгений мгновенно забыл о своих страданиях. Тело вновь наполнилось жизнью.

— Не совсем. Но я знаю, где она. По крайней мере, мне кажется, что знаю.

— Где, где?

— Не спеши, — сказал Лео. — Это длинная история. Можно присесть на кровать? — он забрался на нижнюю полку и опустился там на корточки.

— Где она? Что с ней случилось?

— Ну, понимаешь. Я ее позаимствовал, так сказать.

— Ты?

— Я. Мне нужны были деньги. Я взял и продал. Думаю, она еще там, в магазине.

Евгений растерялся. Ему стало невыносимо

больно. Больно от унижения. Он не в силах был взглянуть на Лео, словно сам все совершил. Он уставился в пол. Значит, Лео взял икону и продал. Значит, это не просто утрата, как он думал, с чем пытался примириться. Это что-то гадкое и мерзкое и вместе с тем очень личное, искажающее и позорящее не кого-нибудь, а его. Склонив голову, он продолжал молчать.

— Ну что, будешь на меня сердиться?

Евгений заставил себя взглянуть на юнца. Он чувствовал не гнев, а только стыд и неловкость, как будто сам позволил себя так больно ранить и растоптать. Знакомый стыд вернулся к нему, из тех, лагерных лет; стыд, как шрам на теле. Он сказал наконец: «Сойди с постели. Я хочу рассмотреть тебя как следует».

Лео немедленно соскочил с койки и, щелкнув каблуками, стал навытяжку перед отцом. Уголки рта у него невольно полезли вверх, ни дать ни взять карикатура, изображающая какого-то весельчака. Но выражение бледного веснушчатого лица было настороженным и выжидающим.

— Зачем ты это сделал? Зачем тебе деньги?

— Ну, понимаешь. Я сознаю, это ужасно, но тебе, думаю, лучше быть в курсе. Я растратил общественные деньги. Это клуб, а я там был кассиром.

Я потратил деньги на разные вещи. Растранжирил, как ты любишь выражаться. И теперь надо держать ответ.

К Евгению и раньше приходило это чувство: его загоняют в угол. Лео разыгрывает спектакль и заставляет его в нем участвовать. Нет никакого выхода, нет возможности поговорить просто и откровенно; закричать бы, призвать — но нет, поток болтовни, как всегда, захлестывает все. Он смотрел на остроносые ботинки Лео. Гнев помог бы, но он не в силах разгневаться. Жалкое, презренное чувство поражения — все, что ему осталось. Сын смеялся над ним, а он — беспомощно опускал руки.

— Нельзя так поступать, — слова, которые он произнес, не имели никакого смысла. Их можно было отнести и к Гитлеру, и к урагану.

— Я понимаю, но мне нужны были деньги, — горячо пояснил Лео. — Иначе я был бы опозорен.

— Ты и так опозорен. Но это не имеет никакого значения.

Евгений хотел, чтобы Лео ушел. Он хотел, чтобы прекратилась эта боль.

— Господи, что ты говоришь! Как это не имеет значения? Так знай: я тебе ее непременно верну.

— Не вижу способа. Ведь ты истратил деньги.

Да я и не хочу, чтобы ты ее возвращал. Я могу обойтись и без нее.

— Сейчас ты скажешь еще, что прощаешь?

— Я не прощаю. Просто не хочу говорить об этом. Все пустое.

— Ну не будь таким смиренным. Раскричись на меня. Оттаскай за уши.

— Поздновато начинать, — Евгений поглядел, сощурившись, словно от нестерпимого света, на бледное напряженное лицо сына. — А теперь, пожалуйста, уходи.

— Но я еще не сказал, что мне жаль.

— Тебе не жаль.

— Настроеньице у тебя, конечно, плоховатое. Ну ничего, пройдет.

— Мало того, что ты украл, — сказал Евгений, — так я еще должен выслушивать твою идиотскую болтовню. Не хочу. Я тебя не понимаю. И никогда не понимал.

— Вот, вот, уже лучше. Ты начинаешь сердиться. И от этого тебе станет легче. Может, и мне тоже. Я раскаиваюсь, пойми же! Сплоховал, каюсь. Но я верну икону. Просто украду ее снова.

— Если ты сделаешь это, я сдам тебя полиции.

Он поднялся. Гнев вскипел в нем. А с ним пришло облегчение, чувство контакта. Так, будто он

нашел, наконец, путь к Лео.

— Но ведь ты хочешь, чтобы она вернулась?

— Уже не хочу. Ты испачкал ее. Ты пачкаешь все и делаешь это намеренно. Мерзко, оскорбительно. Я пытался тебя воспитывать как следует, но ты оказался лгуном и вором!

— Но, может, я чего-то был лишен?

— Чего, скажи на милость?

— Я никогда не жил в настоящем доме. Откуда у меня могло взяться чувство собственности?

— Я делал для тебя все, что в моих силах. Все делал ради тебя, — говорил Евгений. Его голос звучал то печально, то опять гневно. Можно ли позволять так издеваться над собой?

— Мы просто кочевали всю жизнь. Делать ты никогда ничего не хотел.

— Я работал как мог и поддерживал тебя. И до сих пор поддерживаю.

— Чем это, позволь спросить? Ты даже не пытаешься стать англичанином.

— Не пытаюсь. Зачем мне это? Я — русский. И ты тоже.

— Нет, я не русский. Я ничто. Я никак не могу тебе втолковать, что для меня это бессмысленно, пусто.

На лице Лео не осталось и следа от прежне-

го, наигранного воодушевления. Губы у него кривились, глаза сузились. Он стал похож на испуганного ребенка, вот-вот готового расплакаться.

— Ты не можешь уничтожить свою сущность.

— Это не моя сущность. Я все это ненавижу. И твою чертову икону ненавидел. Смастерил, понимаете ли, вокруг себя этакую маленькую Россию! Да ведь это все басни. Спрятаться от жизни — вот чего ты хочешь!

— Перестань кричать на меня!

— Я не кричу. А ты простил Советский Союз?

— Я не простил Советский Союз. Ну, может и так. Не в моих силах изменить историю, почему я должен ненавидеть свою родину?

— Это не твоя родина. У тебя нет родины. Ты и меня сделал бездомным. Боже, почему я не американец?!

— Какой кошмарный бред! И говори потише. Слышно по всему дому.

— А мне все равно. Пусть слышат. Мы не хуже их, ведь так? Но ты уже усвоил: «мисс Мюриэль», «пожалуйста, сэр». Как самый низкий лакей.

— Замолчи и выйди из моей комнаты. Ты никогда не уважал меня. И никогда не любил, как надлежит сыну.

— За что тебя любить?! Папаша хренов.

— Нельзя так, нельзя, нельзя, — прозвучал голос Мюриэль. Она вдруг вошла в комнату.

Лео тут же отвернулся и закрыл лицо руками. Евгений смотрел на Мюриэль холодно, он еще не погасил в себе гнев. Его расстроило это вторжение, и очень рассердило, что она подслушала.

— Простите, — сказала Мюриэль. — Я стучала, но вы так громко говорили…

Повисла пауза. Евгений смотрел в стену. Он чувствовал отвращение — к себе, к Лео, ко всему. Всюду тупик… ну и ладно. Пробуя казаться спокойным, Лео повернулся к Мюриэль. Он смотрел на нее тупо и уныло, будто ожидал указаний. Во взгляде Мюриэль просвечивала легкая неприязнь.

— Ты не должен так говорить с отцом, — сказала она. — Это отвратительно.

Какое-то мгновение Лео смотрел на нее как бы с усталым недоумением. Потом улыбнулся: «Подхалимничаешь, да?»

— Прекрати, — оборвала Мюриэль.

Повернувшись к отцу, но не взглянув на него, Лео махнул рукой, словно что-то отбросил, и вышел из комнаты, громко хлопнув дверью.

Мюриэль потупила взгляд перед Евгением. На

ней было твидовое пальто, на котором все еще поблескивали снежинки. И на плечах белели снежные полоски. Под рукой она держала что-то маленькое, завернутое в коричневую бумагу. Евгений смотрел на ее короткие, потемневшие от влаги волосы, на ее тонкое и умное лицо и ненавидел — за ее английскую чуждость, за ее абсолютно бессознательное превосходство и за то, что она посмела выставить его сына. Резкий разговор с Лео должен был чем-то завершиться. Кто знает, может, они поняли бы друг друга. Теперь, когда Лео ушел, он чувствовал это. Пусть гнев, пусть крик, но они приближались друг к другу. Еще миг — и явилось бы взаимопонимание. Но беспардонно вмешалась эта девушка, подсмотрела — и все разорвалось, обезобразилось, превратилось в стыд и срам для них обоих. Он задыхался от боли и негодования.

— Ужасно, что я вмешалась, — Мюриэль наконец осмелилась взглянуть на него. — Но меня возмутило, что он вам говорил. — Она казалась очень смущенной, но взгляд у нее был настойчивый, почти агрессивный.

«Ну, уходи же», — подумал Евгений, но сказал: «Да».

— Не сердитесь на меня, — произнесла Мю-

риэль.

Евгений молчал. Он не мог простить ей, что она подслушала.

— Я надеюсь, вы не будете против… Мистер Пешков… Евгений… можно вас так называть? Надеюсь… вам понравится.

И она начала разворачивать то, что было принесено ею, завернутое в коричневую бумагу.

— Что это? — спросил Евгений.

— Пожалуйста, не сердитесь… Я принесла вам маленький подарок. Русский сувенир. Я глубоко сожалею, что пропала икона. Знаю, это ее не заменит. Но она мне показалась такой милой, и я подумала: и вы порадуетесь немного. Надеюсь, вам понравится.

Обертка упала на пол, и Мюриэль протянула Евгению что-то маленькое, ярко раскрашенное. Он механически взял и посмотрел. Это была шкатулка, сделанная в традиционном русском стиле. «Руслан и Людмила», расписанные красным и синим лаком по блестящему черному фону.

Евгений смотрел на шкатулку с болью и изумлением. Она напомнила ему что-то… ужасное. На мгновение показалось, что какое-то грозное воспоминание вот-вот готово воскреснуть. Где он видел точно такую же? Это было давно, очень

давно. Он не мог вспомнить, но знал — там невыразимая боль и утрата. Но ничего не открывалось. Он всматривался в шкатулку. Слезы набежали ему на глаза. Он пытался их утереть, прикрыть рукой. Плача, он склонился над подарком. Он не мог успокоиться и не мог вспомнить.

Глава 12

«Тот, кто думает спасти идею Блага путем сопряжения ее с концепцией воли, руководствуется убеждением, что можно предотвратить искажение этой суверенной ценности, связав со специфическими, „человеческими, слишком человеческими“ ценностями и институтами. С тех пор как добро, расцениваемое как абсолютная ценность, стало считаться ударом по человеческой свободе, разрешение в терминах действия предстало как соблазн. Если какое-нибудь движение или воздетый палец заключают в себе добро, то само достоинство этих жестов хранит добро от вырождения. Я уже аргументировал, что так в теорию, внешне безошибочную, закрадывается ошибка, в силу чего эта теория превращается в тайную хвалу определенному типу личности. Воля, выбор и действие — это также термины двусмысленно человеческие. Я пришел теперь к более основательным и провоцирующим мысль возражениям. Если идея Блага отделяется от идеи совершенства, она лишается силы; и любая теория, терпящая это разделение, какой бы вы-

сокоумной она ни представала, в конце концов оказывается просто вульгарным релятивизмом. Если же идея Блага не отделена от идеи совершенства, тогда невозможно избежать проблемы „трансцендентного“. Таким образом, „авторитет“ добра возвращает, и должен возвращать к той же картине в еще более причудливой форме».

Маркус оценил последний абзац, открывающий пятую главу, спокойно и, как он полагал, объективно. Присутствовал некий пророческий тон, от которого он сначала пытался избавиться. Задумывал он книгу как нечто очень холодное и суровое, составленное из ряда чрезвычайно простых утверждений. Но чем глубже он погружался в свою прозу, тем более страстно-высокопарной становилась она. Температура поднималась. Возможно, этого нельзя было избежать. Сила, так сказать, трения его подлинно сложной аргументации не могла не продуцировать определенное тепло. Честно говоря, может ли философия обходиться без страсти? Надо ли ее избегать? С глубоким удовлетворением Маркус ответил: не надо. Но ясность стиля при этом не должна страдать. Ведь его книга предназначается не только для философов. Он несет ответственность и перед

эпохой. Le Pascal de nos jours.[14] Он улыбнулся.

Маркус вернулся к сочинению книги как к своего рода утешению. Она росла, и это придавало ему силы. День ото дня увеличивалось количество страниц — увеличивался и он сам. Он поднимался, как поднимается корабль на волне прилива. Но при этом он был огорчен и напуган, и уверенность его была далека от совершенства. Его потрясла — а чем, он и сам не мог толком объяснить — встреча с епископом. Печалясь по поводу Карла, он смутно надеялся на какую-то помощь от епископа. Он был бы рад простой, даже грубоватой беседе о брате. Он ожидал, что епископ представит некую духовную версию Нориного здравого смысла. Он ожидал чего-то энергичного, свежего, тайно указующего на твердую почву. Таковы епископы, для этого они и существуют. И епископ как бы знал об этом, потому что хотел немного таким казаться. Но то, что прозвучало, вселило тревогу. Это был не тот текст, словно кто-то украдкой подменил страницы пьесы. Маркус ждал утешения относительно Карла, относительно всего происходящего — но напрасно. За словами епископа, человека

---

[14] Примечания: 14
Паскаль наших дней *(франц.).*

терпимого, поклонника психологии, за его житейскими афоризмами открылась темная сцена: стены исчезли, и обнаружился мрак, бурлящий хаос, лишенный малейшего признака организации. Поэтому Маркус испытал неожиданное облегчение, когда, вновь занявшись книгой, обнаружил, что его аргументация нисколько не утратила убедительности.

Маркус не мог сказать, какого именно вердикта в отношении Карла он ждал от епископа. Желать суровой кары — это было бы похоже на предательство. Но не мешало хотя бы прояснить ситуацию. Конечно, епископ не должен терять благоразумия. Но есть же и благоразумные пути смирения одних и утешения других. Маркус хотел бы участвовать в каком-то коллективном решении, в каком-то жесте солидарности здравомыслящих. Он понял, с некоторым удивлением и в то же время горечью, чего он хочет: уверенности, что Карл — психически ущербный человек, больной, со всеми признаками, свойственными такого рода болезни. Потому что если он здоров — то кто же он такой?

То, на что Маркус полагался, исчезло; и теперь то, чего он боялся, могло беспрепятственно увеличиваться и приближаться. Чего же он бо-

ялся? Лично ему Карл не грозил, да и вообще едва помнил о его существовании. Но почему всегда казалось, что эта темная фигура нависает над ним? Маркус знал, что снова пойдет к брату, и пытался рассмотреть эту идею как некий простой, разумный план. Но ему по-прежнему было страшно. Он боялся, что произойдет что-то бессмысленное, боялся услышать смех Карла, увидеть движение Карла, за которым та самая черная бурлящая бездна; боялся почувствовать вдруг это на коже, на кончике пальца, как слизь насекомого.

Он послал Элизабет цветы, но она не ответила. Сначала он обиделся, потом испугался. Воображение подсовывало ему изменившуюся Элизабет, но он гнал от себя эти картинки. Каким-то таинственным образом он уже чувствовал это изменение, как будто некая вредоносная сила действовала и на него, и на нее. Мрак окутывал, окутывал Элизабет — и она превращалась в кокон из тьмы. Он больше не мог представить ее лицо. Какое-то темное облако закрывало ее. Это было опасно. Но для кого — для него или для нее? Каждый день он давал себе клятву развеять эти абсурдные фантазии. Надо пойти к ней. Если понадобится, прямо к ней в комнату. Им вряд ли

удастся силой удержать его. А если удастся? Ведь границы возможного день ото дня становятся шире. Маркус искал решение, и чрезвычайно яркие, тревожные образы настигали его на пороге сна и дополняли сумятицу сновидений.

Это был еще один день застилавшего все тумана, и запах его смешивался с запахом табака. Но в теплой комнате даже туман пахнул нестрашно и дружелюбно. Было уже поздно, начало одиннадцатого, и Маркус отодвинул рукопись. Но прежде чем отправиться спать, он еще должен был разобраться с письмами, касающимися школьных дел. Оказалось, что от забот, связанных со школой, не так-то просто отстраниться. Например, предстояло решить, нужен или не нужен школе новый кабинет химии. И решить это надо было сейчас, а не летом. Он сложил письма в порядке их важности, смешал в чашке горячее молоко с дрожжевым экстрактом и прислушался. Ровно гудел газовый камин, приглушенно шумели машины на Эрл Коурт Роуд. Шторы были задернуты. Настольная лампа освещала по-деловому заваленный бумагами стол и громоздкую книжную полку, принадлежавшую еще отцу Маркуса. Гравюры с изображением Рима и две шоколадно-коричневые вазы из клуазоне, сто-

ящие на каминной полке, тоже принадлежали к фамильным реликвиям. Отчасти из-за безразличия к меблировке, отчасти из-за сомнений относительно собственного вкуса, но Маркус не любил окружать себя вещами. Вот уже несколько лет во время отпуска он жил именно в этой квартире, а она все еще имела вид временного жилья. Это устраивало Маркуса. Ему нравилось считать себя аскетом. Он наслаждался простотой этой маленькой квартирки, его радовал провинциальный дух, свойственный обитателям района Эрл Коурт. Он свыкся с такой жизнью. И зачем он только согласился перебраться в верхний этаж Нориного дома, где начнется бесконечная суета вокруг подушечек и занавесочек? А ведь похоже, он согласился.

Что-то громко задребезжало чуть ли не над самым его ухом. Маркус вздрогнул и секунду держался за сердце. Что же с ним происходит? Испугался собственного дверного колокольчика. Но кто же это в столь поздний час? В такое время Маркуса редко кто навещал.

Квартира находилась на первом этаже. Он отворил дверь, зажег свет на площадке и сбежал по ступенькам. Все еще волнуясь, он долго возился с замком.

Кто-то в пальто с поднятым воротником стоял в туманной мгле. «Карл!» — почему-то решил Маркус. Но потом разглядел, что это Лео Пешков.

— О! — воскликнул Маркус, будто его ударили. Но тут же, сдержавшись, продолжил: — Добрый вечер, Лео. Чем обязан?

— Разрешите войти? — невнятно, сквозь воротник проговорил Лео. Ладони он сжимал под подбородком. — Небольшой разговор.

— Не поздно ли?

— Хорошо. Я зайду завтра.

— Входи, входи.

Студеная мгла поползла вслед за ними по ступенькам. В комнате стало гораздо холоднее.

Маркус включил еще несколько ламп. Он был взволнован и рад, что Лео пришел. Не предложить ли, думал он, мальчику виски?

— Снимай пальто. Садись вот здесь.

Лео с интересом осматривал комнату. Он был здесь прежде всего один раз, по случаю, о котором Маркус старался не вспоминать. Безуспешно пытаясь достучаться до юноши, Маркус тогда почувствовал: не он руководит, а им руководят. На этот раз надо решительно дать понять, кто есть кто. Он сел напротив Лео, перед камином. Теперь они оба сидели в низких кожаных крес-

лах, вытянув ноги к золотой полоске огня. Видно было, что Лео все еще не согрелся. Обычно очень бледное, его лицо сейчас было красным, глаза слезились. Почувствовав на себе взгляд Маркуса, он как бы очнулся.

Холод ночи уже связал их.

— Замерз?

— До самых костей.

— Снег идет?

— Перестал. Здесь хорошо. Кажется, я подхватил простуду. Знаете, в тепле это особенно чувствуется.

— Хочешь… горячего молока?

— Нет, спасибо.

— Виски?

— Нет. Погодите. Кто знает, может, через секунду вы меня прогоните в три шеи.

— Ну-ну, что случилось?

— Позвольте мне быть предельно прямым и кратким. — Лео вытер лицо платком, смял платок и прижался к нему, как к подушке. Какое-то бессознательное самоумаление было в этой позе. Он улыбнулся усталой, понимающей улыбкой, так запомнившейся Маркусу. На редкость милый мальчик.

— Говори, я слушаю.

— Мне надо немного денег.

— Думаю, настолько кратким тебе все же быть не удастся, — сказал Маркус. — Ты должен объяснить, зачем тебе деньги. Но предупреждаю сразу, наверняка я не смогу дать положительный ответ. — Он улыбнулся украдкой.

— Ну что ж, объясню. С чего начать? Вам это не понравится.

— Ничего. Итак…

— Начнем, пожалуй, с того, что я собрался жениться.

— Неужели? — Маркус понял, что неприятно удивлен.

— Да. Причем отец моей невесты хочет, чтобы мы купили квартиру. Он в общем-то присмотрел одну и готов внести деньги, но я со своей стороны тоже должен.

— И ты хочешь, чтобы я тебе эту часть одолжил?

— Нет, нет, не торопитесь. Ваш черед еще наступит. Старик сказал, что нужно около семидесяти пяти фунтов. Это как бы испытание для меня. Мне надо было их где-то взять.

— И ты взял?

— Да. Но вы ни за что не догадаетесь, где.

— Так где же?

— Вам это не понравится.

— Говори, говори.

— Знаете эту семейную икону, эту религиозную картину, с которой мой папа так нянчится? Вот я ее взял и продал.

Икону Маркус смутно, но помнил.

— И отец тебе позволил?

— Нет, я просто взял. Можно сказать, украл.

Наклонившись вперед, Лео смотрел на Маркуса с зачарованным, почти восторженным ожиданием. Озадаченно понимая, что над ним проводят опыт, Маркус постарался не волноваться. Было что-то знакомое и что-то ужасное в этой ситуации. Лео слишком хорошо его знал. Но не столько икона беспокоила сейчас Маркуса, сколько желание произвести должное впечатление на Лео. Он выбрал холодный тон: «Продолжай».

— Папа ужасно огорчился.

— Еще бы. Значит, деньги у тебя появились.

— Значит, появились. Я продал вещь за семьдесят пять фунтов. Но потом произошла глупейшая штука. Вы сочтете меня невероятным дураком.

— Это не столь важно. Дальше что случилось?

— Вы эту девушку видели. Ее зовут Салли. И у нее есть брат. Лен его зовут. И у него куча знакомых на ипподроме. И… понимаю, это ужасно

неразумно…

— Ну, дальше.

— Лен уговорил меня поставить на лошадь. Обещал, что она выиграет, а она не выиграла.

— Да, плохо, — сказал Маркус. — И теперь ты ждешь, что я дам тебе семьдесят пять фунтов, чтобы расплатиться с отцом Салли. Кажется, я должен тебя разочаровать.

Маркус старался говорить спокойно. Он чувствовал: Лео следит за ним внимательно, как кошка. Маркус прикрыл лицо рукой, как будто свет очага ослеплял его. Между ними, Лео и Маркусом, уже выработался механизм общения — точный и безошибочный. И это напряжение, и откровенное ожидание Лео — все подсказывало ему: знакомая механическая сила здесь, на месте. И все же пришло время нарушить привычный ход, разбить знакомую схему. Схема, именно она отгораживала его от Лео, мешала по-настоящему понять его. Маркус убрал руку и окинул юношу холодным, почти судейским взглядом. Да, все нужно устроить иначе. Суровость как раз к месту.

— О нет, нет, — сказал Лео. Намеренно сделав паузу, он продолжил. — Меня удивляет, что вы так подумали. Я готов отвечать за свои поступки.

С отцом Салли попробую все уладить. Но почему мой отец должен страдать? Не понимаю.

— *Ты* намеренно заставил его страдать.

— Кто же, как не я. А вы не думаете, что и я могу сожалеть, что и мне может быть стыдно?

— Стыдно? Тебе? — И неожиданно Маркус рассмеялся. Он встал, подошел к столу и, все еще смеясь, наклонился над своими бумагами. Ему вдруг стало легко в этой теплой, озаряемой светом комнате, он мог свободно размахивать руками, мог двигаться. Он спросил у Лео: «Хочешь виски?» — и принялся доставать бутылку из буфета. Но протянув Лео стакан, понял, что юноша вовсе не разделяет его радости. Маркус испытал такой подъем, что почти забыл о случившемся.

— Вы не очень-то думаете обо мне, — заметил Лео.

— Не очень, — согласился Маркус. — Тем не менее, продолжай.

— Хорошо, я не буду настаивать, что мне стыдно. — Лео опять взял себя в руки и даже слегка улыбался. — В чувствах вообще так трудно разобраться. Это все так субъективно. Мотивы, которыми я руководствовался… все это не имеет значения. Я и сам их не знаю. Я просто хочу вернуть икону.

— Значит, ты ждешь, что я одолжу тебе семьдесят пять фунтов?

— Нет, все гораздо сложнее, — Лео встал и сделал глоток виски. — Вам придется дать немного больше.

— То есть, ты хочешь сказать…

— Именно. Я пошел в магазин и обнаружил: она там, еще не продана, стоит в витрине, и цена ее триста фунтов.

— Понимаю, — сказал Маркус. — Значит, ты не только плут, но и простофиля.

— Не только плут, но и простофиля. Увы.

— Одного не могу понять: почему ты именно ко мне явился с этой своей мерзкой историей?

Наступило молчание. Маркус понял, что он зря задал этот вопрос. Лео опустил глаза и тихо сказал: «Нет, вы понимаете, почему».

Маркус почувствовал: возбуждение как рукой сняло. Игра в кошки-мышки началась снова. Он торопливо добавил: «Я и не думаю тебе помогать». И тут же в смятении возразил себе: конечно, думаешь, и он знает, что думаешь.

Улыбка скользнула по лицу Лео. Как бы не расслышав Маркуса, он продолжил:

— Жаль, что вы не верите в мою способность стыдиться. Я не так плох, как вам кажется. Но

будем говорить о действиях, а не о мотивах. Если бы дело касалось лично меня, я бы не просил. Я просто должен вернуть эту икону. Мой старый отец страдает. — Тут он снова улыбнулся.

— Отец и в самом деле так огорчен?

— Икона — самая большая его ценность. Он раздавлен абсолютно. Постарел на десять лет.

— Перестань же, наконец, улыбаться, — не выдержал Маркус. Знакомое раздражение ожило в нем. Ему захотелось ударить Лео. — Жизнь сталкивала меня со многими молодыми людьми, но такой бессердечности, эгоистичности я не встречал.

— Ну что ж, простите, — еле слышно произнес Лео. Он опустил голову.

— Конечно, ты должен сожалеть о содеянном. Во всяком случае, надеюсь, что ты сожалеешь. Тебе всегда казалось, что можно без труда отбросить мораль, а на деле это не так-то легко. Ты связан гораздо крепче, чем тебе кажется.

— А я вырываюсь на волю, — все так же тихо произнес Лео.

— Иди ты к черту! — крикнул Маркус. Все шло не так, как надо. Все, слышанное многократно, повторялось вновь. — Меня не интересуют твои грязные похождения, и я не собираюсь тебя вы-

ручать, вот так!

Лео исподтишка посматривал на Маркуса. Тот повернулся спиной и принялся вновь перебирать бумаги на столе. Какое-то время длилось полное молчание. Потом Маркус услышал: «Тогда мне лучше уйти. Извините, что побеспокоил».

Маркус обернулся. Лео надевал пальто. Маркус взял у него из рук пальто. Лео посмотрел на Маркуса, и лицо его стало спокойным и сияющим. Маркус бросил пальто на пол.

— Где этот магазин? — спросил Маркус.

— Вот адрес. Я записал.

— Я пойду и увижусь с хозяином, — сказал Маркус. — Но ничего не обещаю. Теперь уходи.

Лео поднял пальто и повязал шарф. Он смотрел на Маркуса все с той же тихой улыбкой, излучающей не столько благодарность, сколько мягкую тревожную жалость. Потом с осторожностью, очень похожей на любопытство, протянул руку и тронул Маркуса за плечо. Это движение скорее было похоже на робкий стук в дверь, нежели на ласку. Маркус перехватил руку Лео, с силой сжал ее и отбросил от себя. Какое-то мгновение они пристально смотрели друг на друга. Потом Маркус отступил за стол. «Уходи», — прозвучало.

Дверь закрылась. Маркус сел, тяжело дыша.

Он выпил немного виски. Ему было и весело, и омерзительно. Чуть позднее он стал смеяться. Он лег в постель, и ему приснился Карл.

Глава 13

— Мюриэль.

— Что?

— Хочу тебе кое-что сказать.

Мюриэль вернулась, медленно поднялась по ступенькам. Отец позвал через полуоткрытую дверь. Там, в комнате, кажется, было темно. Еще несколько минут назад «Патетическая симфония» звучала так громко, что было слышно у двери ее комнаты. Теперь музыку приглушили до хриплого шепота. Осторожно, словно ожидая какого-то нападения, Мюриэль толкнула дверь и вошла. Хотя было утро и туман немного рассеялся, Карл держал шторы задернутыми. В комнате было одновременно и холодно, и душно. Мюриэль догадалась, что отец не ложился всю ночь. На столе горела лампа, освещая лежащую под ней раскрытую книгу. Карла не было видно. Через секунду обнаружилось, что он сидит на черном диване. Карл перешел к столу и сел, изменив положение лампы так, что в комнате стало немного светлее.

— Прикрой дверь. Сколько сейчас времени?

— Около десяти.

— Присядь, пожалуйста.

Мюриэль было тревожно. Она села, глядя через стол на отца.

— Ты уже нашла работу, Мюриэль?

— Еще нет.

— Я уверен, что найдешь.

— Я найду.

— Как чувствовала себя утром Элизабет? Я слышал колокольчик.

— Пожалуй, как всегда.

— Я хочу поговорить с тобой об Элизабет.

Мюриэль глядела на красивое и странно застывшее лицо отца. Одна сторона его лица была освещена светом лампы, особенно голубой глаз, другая — закрыта тьмой. Слишком много покоя в нем. У погруженного в себя отшельника, в высокогорной пещере молящегося неведомым богам, может, бывает такое. Мюриэль поежилась. Как всегда что-то гнетущее, пугающее, знобящее исходило от отца, как тяжкий запах.

Этим утром Мюриэль проснулась в тоске. Она вспомнила разговор с Лео и странную сделку, которую она, кажется, заключила с ним. Идея ввести это безответственное существо в замкнутый и упорядоченный мир Элизабет теперь казалась ей

не столько даже необдуманной, сколько бессмысленной. Что же привлекло ее в Лео и навело на мысль, что он «подходит» не только Элизабет, но некоторым образом и ей самой? Не что иное, как эта самая моральная, вернее, лишенная всяческой морали резвость, эта радостная готовность безобразничать, обернувшаяся отвратительной кражей и ссорой с Евгением, которую она подслушала. В Лео она увидела примитивное существо, сила которого и была в этой его простоте. Далее в простоте она разглядела «чистоту» — и тогда уж окончательно решила, что он ей подходит. Создание столь простодушно-эгоистическое не может быть грозным. Такого Мюриэль не боялась. Таким, успокаивала она себя, ей по силам руководить. Но теперь она чувствовала, что запуталась. Осудить поведение Лео? Как она может его осуждать, если сама наполовину превратилась в его сообщницу?

Она очень жалела Евгения и в этом находила облегчение. И еще больше жалела оттого, что не в силах была осудить его сына. Она вышла за покупками, все еще находясь в чрезвычайном волнении. Спустилась по Лодгейт Хилл и вдруг замерла у одной из витрин. Там стояла эта русская шкатулка. Прежде она никогда по-настоящему не

обращала внимания на такие вещи. Теперь же заметила, причем сразу. В этом, как ей показалось, был какой-то знак. И всю дорогу назад она летела, как на крыльях. Она надеялась, что Евгений обрадуется подарку и ее заботе о нем. Но реальность превзошла все ее ожидания. Он расплакался от благодарности, что изумило и вместе с тем очень обрадовало Мюриэль. Она не ошиблась: забота его растрогала. Позднее она жалела, что в смущении слишком быстро покинула комнату. Ей следовало остаться, следовало обнять его, может быть, и поцеловать. Она провела беспокойную ночь без сна, представляя себе, как целует его, и стонала в подушку.

Теперь, в полумраке комнаты, Мюриэль чувствовала себя виноватой перед отцом. Она всегда перед ним чувствовала себя виноватой. Сейчас ее виной был Лео и особенно Евгений. В ней просыпалась любовь к Евгению. Мюриэль сидела на границе света и тьмы. На самом краешке.

— Что с тобой, Мюриэль?

— Ничего. Ты что-то мне хотел сказать?

— Это касается Элизабет. Она меня серьезно беспокоит.

Мюриэль собрала все свое внимание. Лампа широким кругом освещала стол. Нижняя часть

круга падала на пол и рассеивалась там. Если бы был еще какой-то свет за порогом комнаты, свет, который мог бы проникнуть сюда. Мюриэль чувствовала на себе взгляд отца как непрерывное давление. Она глядела на аккуратно вырезанный круг света.

— С ней, кажется, все хорошо. Ни на какие новые недомогания не жалуется.

— Речь идет не о ее физическом состоянии.

Мюриэль ощутила наплывающую сонливость, похожую на маленькое облачко. Оно гудело. Как рой ос, все ближе, ближе. Она чуть качнулась на стуле, ударив лодыжкой о лодыжку.

— Элизабет в порядке. Не понимаю, что тебя беспокоит.

— А не замечала ли ты все усиливающейся апатии?

Конечно, замечала. Но это не имеет никакого значения.

— Нет. То есть… Движение утомляет ее, вот и все. И еще эта ужасная погода.

— Мне думается, есть еще что-то. Ты должна внимательней наблюдать за своей кузиной. Она теряет интерес к чтению.

— Да, она мало читает…

Верно, с тех пор как они переехали в Лондон,

Элизабет почти не брала в руки книжку. Она проводила время, занимаясь головоломкой или созерцая огонь. Но у нее и прежде бывали такие времена. Девушка, живущая так замкнуто, не может иначе. Все идет как всегда.

— Элизабет все больше погружается в себя. С каждым днем реальный мир отдаляется от нее. Неужели ты этого не видишь?

— Нет, — с усилием произнесла Мюриэль. И подняла глаза навстречу взгляду отца. Глаза его были неподвижны, но Мюриэль казалось, что они все время движутся. Свои глаза она ощущала как огромную плоскость, над которой неустанно парил взгляд Карла. Надо все отрицать, подумала Мюриэль, едва понимая, что сама под этим подразумевает. Надо все отрицать.

— Она пытается нас покинуть, — мягко сказал Карл. Он положил руки на стол, плотно соединив пальцы.

— Я тебя не понимаю, — отозвалась Мюриэль. — Если ты намекаешь, что у нее что-то происходит с психикой, то я не согласна. Она вполне здорова.

Ее голос прозвучал хрипло, пробиваясь сквозь какой-то бормочущий звук. Она поняла: где-то здесь шепотом продолжала звучать «Патетиче-

ская симфония».

— Элизабет пытается нас покинуть, — повторил Карл. — Тяжкие времена ожидают тебя и меня. Если нет возможности удержать ее, мы должны идти вместе с ней. Так долго, сколько будет возможно.

Он стал говорить еще мягче и неторопливей, плотно прижимая ладони к столу и слегка наклоняясь вперед.

— Я действительно не понимаю, — сказала Мюриэль. Она засыпала, она не могла дышать, она чего-то боялась. Ей что-то нужно, но что? Воздух? А может, свет? А может, отвага? В ее сознании сложилось это слово — «отвага». Надо все отрицать.

— Ты понимаешь очень хорошо, очень хорошо, Мюриэль. Все, что касается Элизабет, ты всегда понимала.

— Я очень люблю Элизабет…

— Мы оба любим Элизабет. Только о ней мы всегда и заботились. Она наша драгоценность, наше общее сокровище.

Надо сопротивляться, чувствовала Мюриэль. Меня вовлекают в какой-то заговор, хотят сделать союзником чего-то. Нет, меня убеждают: ты всегда была в заговоре, ты всегда была союзницей. Но это ложь. А может, правда?

— Нет, — проговорила она, — нет, нет.

— Ну, ну, Мюриэль, не надо отрицать. Мы всегда вместе опекали Элизабет. Будем помогать ей и дальше. Это так просто.

— С ней все хорошо, — сказала Мюриэль. Она осознала, что держится за край стола. Она убрала руки и с силой сжала их.

— Но я не отрицаю, что все хорошо, Мюриэль; и дальше тоже будет хорошо, просто мы должны больше заботиться о ней, старательно заботиться. Надо беречь ее от потрясений. Пусть думает, пусть мечтает. Нельзя ей в этом мешать. Никаких неожиданностей, никаких вторжений. Они могут нанести непоправимый вред.

«Патетическая симфония» подошла к своему еле слышному финалу, и проигрыватель выключился. В наступившем тревожном молчании Мюриэль громко произнесла:

— Я не согласна. Я считаю, что ей нужно больше видеться с людьми. Она просто немного устала. Знакомство с новыми людьми помогло бы ей. Именно из-за одиночества она и засыпает.

— Засыпает, — повторил Карл. — Верно.

Повисла тишина. И в тишине, в молчании Мюриэль вновь послышались какие-то шепчущие звуки. Может, это были ее мысли, которые Карл

так опасно умел разгадывать.

— Рискованно пробуждать лунатика, — услышала она.

— Элизабет не лунатик, просто девушка с больной спиной, лишенная друзей и радости.

Образ «лунатика» был, конечно, дьявольски метким. «Отвага», — снова подумала Мюриэль и спохватилась, не произнесла ли это вслух.

— Непоправимый вред, — повторил Карл. — Элизабет — сновидец, прядущий свою паутину. Эта паутина и есть ее жизнь, ее счастье. Наша обязанность, твоя и моя, помогать ей, защищать ее, самим вплетаться в эту паутину, быть с ней, идти рядом как можно дольше. Задача трудная, осуществимая только в полной тишине и покое.

Голос Карла снизился до шепота.

— Конечно, я попытаюсь…

— Никаких сюрпризов, никаких резких движений, никакого вмешательства в рутину, которой ты окружила ее и которую так замечательно поддерживаешь. Ни она, ни я не могли бы желать лучшей няньки. Ты прекрасно справляешься. Но теперь тебе следует стать еще заботливей, еще внимательней. Мы должны обходиться с ней как можно мягче. Мне необходимо быть уверенным в том, Мюриэль, что ты будешь нести эту службу

вместе со мной.

— Мне надо подумать…

— Элизабет становится все более чувствительной к разного рода потрясениям. Пообещай мне, твердо пообещай, что будешь защищать ее так же верно, как и всегда.

— Обещаю…

— И следить, чтобы никто не входил к ней, не беспокоил. Обещаешь?

— Да…

— Хорошо. Я надеюсь на тебя. У нас есть сокровище, которое мы должны охранять вместе.

Мюриэль промолчала. Она чувствовала: надо сопротивляться, отрицать, плакать, выкрикивать имя Элизабет, скликать любых громогласных богов, чтобы они заполнили это смертельно тихое место. Но какая-то немота поразила ее.

— Мы понимаем друг друга, — сказал Карл, намекая, что разговор завершен.

Мюриэль поднялась. Она хотела что-то сказать, но теперь поднялся и Карл. Желание как можно быстрее покинуть комнату толкнуло ее к двери. Она оглянулась назад, во тьму. Какой он высокий. Она вышла и осторожно прикрыла дверь.

Frere Jacques, Frere Jacques, dormes-vous?[15]
«Патетическая симфония» началась сначала.

Мюриэль стояла внизу у лестницы. Дом опять полнился еле слышными звуками музыки. Ей хотелось воздуха, движения, бега, полета. Что угодно, лишь бы не эта застылость. Тяжко было думать о Карле, о странном сообщничестве, с его помощью возникшем между ними. Существование отца давило на нее физически, как материя, а не как мысль. Под его тяжестью она сгибалась и падала на колени. Сбросить бы этот груз, освободиться! Но с этой темной гнетущей силой уже соперничала светлая. Евений! Все время, пока она была у отца, мысль о Евгении не покидала ее. Только он защищал ее от этого давящего взгляда. Она повторяла его имя про себя, а может, и вслух. Я пойду к нему сейчас, думала она, и расскажу все. Положу ему голову на плечо. Все будет хорошо.

На душе у нее просветлело. Ей стало легко. Руки и ноги трепетали от легкости, как листва под дуновением ветерка. Она прошла через кухню по коридору к его комнате. Ее влекло к нему ее собственное тело, и она все приближалась, приближалась. Вот и его дверь. И тут она вдруг

---

[15] Примечания: 15
Братец Жак, братец Жак, спите ли вы? *(франц.)*

остановилась как вкопанная. Изнутри доносился голос Пэтти.

Она стояла сгорбившись. Потом закрыла лицо руками.

— О, кого я вижу, — прозвучал голос Лео. — Входи.

Мюриэль медленно повернулась. Вошла в комнату Лео. И тут начала плакать.

— Ну, милая моя, милая, — приговаривал Лео. — Садись. Сюда вот, на кровать. Возьми платок, он чистый.

Мюриэль вытерла глаза платком. Она судорожно вздохнула, глядя на Лео сквозь слезы. Но источник слез быстро иссяк. Мюриэль не была плаксой.

Он стал перед ней на колени и положил ей руку на плечо. Потом как-то неуклюже обнял ее, затем сел на пол.

— Что случилось? Расскажи дяде Лео.

— Ничего, — сказала Мюриэль холодным усталым голосом. — Просто мне стало… как-то ужасно не по себе. Но уже все хорошо.

— Ничего себе хорошо. Я же вижу. Рассказывай.

— Сложно это. Ты не поймешь.

— Ну, просто поговорим. О чем-нибудь. Я же

твой друг, ты знаешь.

Может, он и прав. Она посмотрела на него. Трогательные пушистые волосы. Серые глаза светятся заботой и весельем. Это создание не выносит кошмаров.

— Ну ладно. Скажи мне, ты вернул икону?

Лео поднялся с пола.

— Нет, но я верну, обязательно верну. Знаешь, давай поговорим по-настоящему. Надоели мне все эти сражения, подшучивания. Прикажи, и я буду серьезным. Ты сможешь, если попытаешься. Ну, попытаешься?

— Я не имею права тебе приказывать.

— Ты просто думаешь, что я неисправим. Что я плохой.

— Не знаю. Какая разница. Я и сама плохая.

— Я серьезно.

— И я серьезно.

— Так вот, об иконе. Я ее верну. Но пока не скажу, как именно. Гордиться мне нечем. Я тут такое сделал…

— Что, опять украл?

— Нет. Хуже. Но не будем об этом. Я кое о чем другом хочу тебе рассказать, хотя это и не так важно. Чисто символически. Ну, рассказать?

— О чем ты?

— Когда я объяснял тебе, зачем продал икону, то солгал. Тебе сказал одно, отцу другое, и еще другое, ну… третьему лицу.

— Я думала, деньги нужны на операцию для какой-то девушки?

— Не совсем так… То есть, как бы это сказать… операция действительно была, но не сейчас, а какое-то время назад, несколько месяцев назад. И девушка уже ушла к другому. Не в этом дело. Штука в том, что я тогда занял денег, на операцию занял. У одной… ну, женщины… немолодой, питающей ко мне симпатию.

— Понимаю. И дальше…

— Пришлось расхлебывать кашу, — сказал Лео. — Нет, ничего особенного. То есть я не должен был спать с ней, чтобы получить деньги. Тут совсем другое. Она ужасно деликатная. Но… мы стали близкими друзьями, понимаешь? Она так расположена ко мне, так сочувствует, хочет обо мне все знать, помогать. А я чувствую себя, как муха в варенье. И все еще ее должник…

— Ты не можешь ее бросить?

— Да. Хотя я бы выразился иначе. В конце концов, она же мне не подружка. Хочу уйти, но нельзя.

— Ты воспользовался ею охотно, но не учел, по

твоему выражению, «кашу»?

— Вроде того. Некрасиво, правда? У меня тогда было такое отчаянное положение. Но так дальше нельзя. Чувствую, что все время говорю ей лишь половину правды, даже меньше, чем половину, и пока не верну эти чертовы деньги…

— Не думаю, что именно деньги ей нужны.

— В том-то и дело. Она твердит, что подарила их мне. Но я не могу принять такой подарок. Тут не мораль, а психология.

— Зачастую одно от другого не отличить. Да, положение у тебя трудное.

— Значит, ты веришь, что правду сказал, да? Я наговорил тебе целую кучу лжи. Но это правда.

— Верю, — сказала Мюриэль. Она поверила. — Но теперь ты расплатишься с ней?

— Ну… нет пока. В том-то все и дело. Смотри-ка, а мы понимаем друг друга. Я и не ожидал.

— Пока что я не совсем понимаю.

— У меня был план. Сохранить деньги, чтобы расплатиться, и использовать третье лицо, чтобы оно выкупило для меня икону. Но я не могу осуществить этот план.

— Что же тебе мешает? Неужели на этот раз дух морали?

— Да, думаю, именно он. Я всегда воображал,

что могу отбросить мораль, но это не так легко. Я не так свободен, как мне кажется.

— Правда, что ты получил 75 фунтов за икону?

— Правда. И сегодня я передам их тому человеку… который согласился выкупить икону.

— От которого ты скрыл, что у тебя были деньги?

— Совершенно верно. Ему икона обойдется, боюсь, чуть дороже. Но это некий жест с моей стороны.

— Который ты сопроводишь, если удастся, какой-нибудь новой басней?

Лео изумленно глянул на нее и расхохотался: «Да! Но я все равно передам! Ты довольна мной, Мюриэль?»

— Но ты еще не рассчитался со своей симпатичной пожилой дамой.

— Не хочу сейчас об этом думать. Как-нибудь выпутаюсь. А теперь поговорим о твоем обещании, Мюриэль. О твоей кузине.

Мюриэль посмотрела в сторону. Призрак вырос перед ней: душная тьма, гудящая в углу комнаты, как башня из шершней.

— Пойми, — говорил Лео, — я не такой уж дурак. Долгое время я валял дурака, но могу взять себя в руки. Я хочу увидеть твою кузину, просто

увидеть, что бы ни случилось потом, и даже если ничего не случится. Клянусь, с тех пор, как ты мне о ней рассказала, она не выходит у меня из головы. Мысли о ней превращают меня в романтика. Если ты позволишь мне встретиться с твоей кузиной, я буду себя примерно вести, честное слово. Что ты скажешь, то и буду делать.

— Хорошо, — сказала Мюриэль.

— Расскажи мне немного больше о ней. О ее внешности.

Мюриэль стиснула зубы. Внутри себя она вновь ощутила дрожь, предвещающую рыдание.

— В другой раз расскажу. Теперь мне надо идти.

— Я что-то не то сказал?

— Нет, все в порядке.

— Не сердись на меня, Мюриэль.

— Я не сержусь.

— Не надо горевать.

Идя к двери, Мюриэль натолкнулась на Лео. Он неловко обнял ее, и она на миг яростно вцепилась в него. Выйдя, она услыхала все еще доносящийся из комнаты Евгения голос Пэтти.

Через несколько минут Мюриэль, крадучись, вышла за порог. Снаружи было очень тихо. Туман чуть рассеялся и воздух наполнился снегом.

Крупные мягкие белые хлопья бесшумно вращались вокруг нее, опадая и снова поднимаясь, пронизывая воздух узорами, едва уловимыми для глаз. Снег падал, сгущался, напоминая собой пушистую холодную вату. Мюриэль шла, наклонив голову. Снег поскрипывал под ее ногами. Кто-то, плотно закутанный, возник и исчез, пройдя мимо нее в сторону дома. Кажется, миссис Барлоу.

Мюриэль шла быстро, не разбирая дороги, и по пути пыталась думать. Способность думать, кажется, вернулась к ней. Она понимала, что оказалась под сильным давлением. Карл использовал власть. Он ничем прямо не грозил, но в его властности таилась опасность. В чем же эта опасность? Чувство подсказывало ответ: она может утратить связь с реальностью. Есть Карл и есть Лео. Инстинктивно она подошла к мысли, что в осуществлении своего замысла можно как-то использовать Лео. Она боялась Карла, боялась неповиновения Карлу. Но знала, что ее ждет, возможно, нечто еще более страшное — изоляция, паралич воли, превращение мира во что-то маленькое, сонное, как внутренность яйца. Она чувствовала: Карл втягивает ее в какой-то дьявольский заговор, пытается внушить, что это неизбежно. Ей нужен Лео, его буйство, даже неле-

пость. Только так она вновь ощутит себя живым, разумным, независимым существом.

Но странно: почему она вдруг решила, что это какой-то дьявольский план? Если и был план, то она сама давно помогает его осуществлять. Она всегда соглашалась, что Элизабет больна и ее нужно защищать от мирских тревог. Она сама и есть главная защитница. Уютное гнездышко, в котором теперь цепенеет Элизабет, не ее ли рук дело? Без этого как будто нельзя было обойтись. Доктора приходили и уходили, качая головой, не рекомендуя делать усилия, предписывая полный покой. Элизабет — инвалид и ведет жизнь инвалида. Что же здесь таинственного?

Попытайся взглянуть на это проще, говорила себе Мюриэль. Может, та тихая жизнь, которой живет Элизабет, это неизбежность? Но при этом надо ли запрещать ей видеть людей? Карл почему-то смешал и то и другое. А надо немного подумать и разделить. Тут вполне возможен компромисс. Она пойдет к отцу и прямо и откровенно выскажет свои мысли: Элизабет просто необходимо общество, и не познакомить ли ее для начала с молодым Пешковым? Нет ничего чудовищного в этом предложении. Но почему же страх мгновенно охватил ее?

Евгению, вот кому надо сначала попытаться все объяснить! Он здесь, он мудрый, на него можно положиться. Но согласится ли он, чтобы Лео познакомился с Элизабет? Ну почему же не согласится? Это только ей, Мюриэль, кажется, что свершится какое-то насилие, расколется какое-то зеркало. А разумному постороннему идея может показаться вполне заурядной. Хотя постороннему, чтобы по-настоящему понять, не следует ли сначала проникнуться ее собственным, более пылким восприятием грядущего? Но в силах ли она передать то, что видит? Не потухнет ли это пламя, не покажется ли выдумкой? А действительно, не выдумка ли все это? Надо поговорить с Евгением. Она постаралась представить, как говорит с ним, но вместо этого увидела… как он обнимает ее.

— Мюриэль!

Мюриэль споткнулась и чуть не упала. Кто-то стоял рядом с ней, скрытый темнеющим потоком снега. Мюриэль не сразу поняла, где находится. Она шла наобум и вдруг услыхала свое имя.

— Мюриэль…

Это была Нора Шедокс-Браун.

— А, здравствуйте…

— Моя дорогая девочка, как хорошо, что я тебя

встретила. А я иду к вам. Этот коричневый демон в дверях всегда твердит одно: тебя нет. Сегодня я собиралась назвать ее лгуньей, так что это просто чудесно, что мы встретились!

Мюриэль что-то пробормотала. Шедокс была так далека от нее, так неинтересна, что ей даже не хотелось подыскивать слова.

— Мюриэль, у меня к тебе серьезный разговор.

— Но я не… — Мюриэль хотелось улизнуть от Шедокс под любым предлогом, но она не могла ничего придумать.

— Что ты сказала? Знаешь, ни к чему нам стоять под снегом. Вижу, ты промерзла до костей. Ты ведь не торопишься? Тут недалеко мой дом. Пять минут — и мы на месте. От быстрой ходьбы согреешься. Не говори на холоде! Вперед, быстро!

Нора, слегка подталкивая, повела Мюриэль по дороге. Снег становился все глубже. Ботинки уже тонули в нем. Снежинки норовили залететь в рот. Так что в любом случае говорить по пути было невозможно.

— Вот и пришли. Вверх по ступенькам. Я живу наверху. Внизу никто не живет. Ты же приходила сюда прежде.

Действительно, один раз Мюриэль заходила к Норе. Но об этом она не любила вспоминать.

Тогда Шедокс уговаривала ее поступить в университет.

Неожиданное тепло гостиной оказалось почти болезненным. Ступни, согреваясь, болели, лицо пылало. Мюриэль машинально сняла пальто и шарф и положила на стул. С некоторым усилием стащила перчатки. Руки у нее закоченели и побелели от холода. Она сжала ладони, ожидая услышать хруст. Это были уже не руки, а пятипалый рисунок боли. Мюриэль опять хотелось плакать. Она чувствовала: слезы жгут ей глаза. Но что бы ни случилось, перед Шедокс ей нельзя плакать. Она подошла к окну и закашлялась в платок.

— Ну и денек! — воскликнула Нора. — Присаживайся, Мюриэль. Считаю, нам обеим не помешает выпить чего-нибудь горяченького. Я сварю кофе. Подожди минуту.

Мюриэль все еще стояла у окна, вытирая лицо платком, наблюдая, как падает снег. Снег заполнял пространство. Уже не отдельные снежинки, а плотное белое покрывало колыхалось за окном. Дверь отворилась, и поднос с кофейником, звякнув, опустился на стол.

— Ты выглядишь как беглянка, дитя мое! Садись и рассказывай, как у тебя дела. Ты не ответила на

мое последнее письмо. Это невежливо.

— Я прошу прощения, — Мюриэль приблизилась к камину и села. — Мне… так тяжело с тех пор, как мы в Лондоне.

Ей не следовало этого говорить. Потому что именно это Шедокс и хотела от нее услышать.

Минуту или две Нора молча смотрела на Мюриэль. Потом сказала: «Тебе лучше рассказать обо всем, что происходит».

Мюриэль осмотрелась. Гостиная Шедокс. Именно такой она ей и запомнилась. Огонь пылает в очаге, бросая отблески на массивные медные ручки каминных принадлежностей. На каминной полке стоят чашечки из белого фарфора с цветочками на безукоризненно сияющих боках. В двух нишах установлены белые книжные полки. Норины книжки в бумажных, но очень аккуратных обложках такие же чистенькие и яркие, как фарфоровые чашки. Покрывающий стулья цветастый ситец выгорел до приятного мягкого оттенка. Прекрасные репродукции современных французских художников украшают стены. Обои в крохотных розочках. Мюриэль вздохнула и с изумлением поняла, что на душе стало легче.

Мюриэль посмотрела на Шедокс. Шедокс тоже не изменилась. Шедокс никогда не менялась.

Сколько Мюриэль ее помнила, она всегда была такой. Мягкое лицо, окаймленное серебристо-серыми пышными прямыми волосами, костюм неизменно светло-коричневого цвета. Энергичный рот и проницательный уверенный взгляд. Когда-то Шедокс символизировала для Мюриэль все, что она презирала. Доброжелательность казалась сентиментальной и бесцеремонной, уверенность — слепым поклонением заплесневелым ценностям. Теперь, испытав головокружительное чувство безвозвратного повзросления, Мюриэль увидела Нору иной — чудесно, может, даже спасительно невинной.

— Я немного беспокоюсь об отце и кузине, — сказала Мюриэль.

— Меня это не удивляет. Твой отец — трудный человек. А Элизабет страдает чрезвычайно изнурительной болезнью. Вот, выпей кофе. Ну, я слушаю.

— Объяснить нелегко. Признаюсь, я в растерянности. Конечно, Элизабет больна, ей нельзя работать, нельзя поднимать тяжести и так далее. Но я чувствую — отец преувеличивает. Он хочет ее спрятать, никого к ней не пускает. А я считаю, что она должна видеться с людьми.

— Я полностью с тобой согласна. И всегда так

думала. Конечно, твой отец в каком-то смысле нервнобольной. Его невроз выражается в неприязни к любого рода посетителям. Подозреваю, что он не терпит посторонних в доме.

— Да, — согласилась Мюриэль. Вот, подумала она, простое объяснение, почему Карл не допускает никого к Элизабет.

— Я неоднократно сталкивалась с такими людьми. Особенно опасно это у родителей. Ведь они заражают своей мизантропией детей. Но нельзя действовать сгоряча. Как себя чувствует это дитя? Держится мужественно?

— Неплохо. Я изумлялась, как радостно она несет свой груз. Но в последнее время она как-то сникла, погрустнела.

— Неблагоприятное время года или реакция, может быть, на переезд. Конечно, ей нужны перемены, развлечения. Знакомство с молодыми людьми — это было бы прекрасно.

— Я хочу познакомить ее с Лео Пешковым.

Мюриэль сказала это и тут же ощутила сказанное как некое тайное богохульство. Как проклятие на иностранном языке.

— Прекрасная мысль, — одобрила Нора. — Он ведь находится в доме, насколько я знаю. Так себе юноша. Не ахти какой герой. Но милый и

абсолютно безвредный. Лучшего и не надо.

— Сомневаюсь, что отец даст согласие.

— Но почему, скажи на милость, твой отец не должен согласиться? Да, я считаю, что он нервнобольной, эгоист, рак-отшельник, маньяк. Среди мужчин такое не редкость. Не обижайся, Мюриэль, но надо называть вещи своими именами. Тебе нельзя уступать отцу. Ведь ты его немного боишься, правда?

— Да, — ответила Мюриэль. Глядя прямо в огонь, она с силой прижимала пальцы к вискам.

— Сколько тебе лет, дитя мое?

— Двадцать четыре.

— Ну, не кажется ли тебе, что в таком возрасте уже можно не бояться отца?

— Да…

Все оказывается очень просто, и никаких ночных кошмаров. Элизабет немного тоскует. Естественно, ей нужны перемены, нужны развлечения. Карл — невротик. Он ненавидит посторонних. Но Элизабет надо видеться с молодыми людьми. Лео Пешков очень мил и совершенно безвреден. Мюриэль следует быть потверже с Карлом. Карл — эгоист, рак-отшельник, маньяк. Среди мужчин такие часто встречаются. Мюриэль уже двадцать четыре, и ей пора перестать

бояться отца. Все просто и понятно.

— Не плачь, Мюриэль, — сказала Шедокс. — Не так все ужасно. Все будет в порядке. Пей кофе. Все будет в порядке, дитя мое.

Глава 14

Евгений Пешков проснулся с мыслью, что случилось что-то странное. Он лежал в полусне в пещере нижней полки и гадал, что же это такое. Что-то необычное, волнующее и чудесное. Что это могло быть? Он перевернулся, оперся на локти и протер глаза. И вдруг понял. Солнце освещало комнату.

Комната, наполнившись светом, стала как бы больше, просторней. Чистый, прозрачный кусочек неба, видимый сквозь окошко, был не просто голубым, а лазурным, искрящимся, как драгоценный камень. Было в этой звенящей синеве нечто такое знакомое, от чего Евгений ощутил в теле трепет, слишком явный, чтобы его можно было назвать просто воспоминанием. Он быстро встал с постели и надел халат. Затем пододвинул стул, взобрался и выглянул в окошко.

Тумана как и не было. Солнце светило с раскаленной синевы на бескрайнее пространство девственного снега. Строительная площадка раскинулась в виде широкого снежного поля, на границе которого сверкали вдали, в дрожащем,

прозрачном воздухе заснеженные купола, башни, шпили.

От всей этой новизны у Евгения вдруг разболелся живот, и он торопливо сошел со стула. Первая вещь, на которой сосредоточился его изумленный взгляд, была расписная русская шкатулка. Ему все еще было непонятно, почему при виде ее он так разволновался. Может, что-то случилось в детстве, связанное вот с такой же шкатулкой? Может, к этому имели какое-то отношение мать или сестра? Он положил ладонь на шкатулку и ощутил ее гладкость. Он надеялся, что прикосновение откроет что-нибудь. Но ничего не открылось. Лишь к волнению, вызванному снежным светом, добавилась безымянная боль. Евгений поспешно оделся. Он сегодня поздновато встал. Слышно было, как Пэтти возится с посудой в кухне и при этом напевает. И внутри дома все звуки стали иными — высокими, парящими, звонкими, чистыми, как хрустальные отзвуки снега. И *это* он помнил, помнил всем своим естеством.

Прошлой ночью Евгений уснул с горькими мыслями. Утрата иконы — это удар, боль, но с ней можно смириться. Сын в этом виноват — вот где подлинная беда. Не кто-нибудь, а сын — вот что превращало теперь его самого из жертвы в

актера, глупого, безвольного паяца. Теперь он понимал, насколько его спокойное существование зависело от его же пассивности, нестроптивости, исполнительности. Только при таких условиях он мог скрывать от самого себя понимание, насколько жестоко человек может обращаться с человеком. Чем был его стоицизм? Может, просто смиренным забвением? Он мог терпеть то, что не требовало активного действия. Так он терпел минувшую катастрофу своей жизни. Но поступок Лео был личной атакой, больно уязвившей его, восстановившей меру унижения, как бы поглощенную временем. И потом это неприятное вмешательство мисс Мюриэль. У него отняли чувство защищенности, отняли достоинство, лишили декорума — всего, что отгораживало его от этого ничтожного глупого племени англичан и обеспечивало ему превосходство над ними. Теперь он стал маленьким и беззащитным.

Однако все это было вчера, до великого праздника солнца и снега. Неприятный осадок остался, но сегодня Евгений чувствовал себя куда лучше. Он погляделся в зеркальце для бритья. Познакомившись с Пэтти, он теперь брился каждый день. Он пригладил усы, росшие густо над губой и постепенно по обеим сторонам рта сужающиеся до

проволочной тонкости. Усы у него были ржаво-коричневого цвета, как когда-то волосы. Теперь волосы стали серыми, но росли еще густо вокруг макушки, так что при подходящем направлении ветра можно было успешно скрывать образовавшуюся там лысину. Он рассмотрел свою прическу спереди. Здесь, кажется, волосы тоже начинали редеть. Он дружески улыбнулся отражению и поспешил в кухню.

— О, Пэтти, взгляните. Разве не чудесно!

— Чудесно. Все изменилось.

— Собираемся как можно быстрее. Вы уже отнесли ему наверх завтрак? — что-то мешало Евгению называть пастора по имени.

— Да. А вы не хотите омлета?

— Нет, нет, не сейчас. Скорей. Надевайте пальто.

— Не знаю, можно ли мне…

— Идемте. Я покажу вам реку. Я покажу вам снег.

Через несколько минут они уже шли по снегу, и длинные тени спешили за ними. Белое поле строительной площадки лежало еще никем не исхоженное. Снег сверху слегка подмерз, и их ботинки с хрустом проваливались в пушистую глубину. Низкое яркое солнце стелило косые

лучи, образуя на снежном полотне маленькие голубоватые волнообразные тени, заставляя мириады кристалликов вспыхивать так ослепительно, что Пэтти то и дело останавливалась, охая от удивления. Ей хотелось верить, что это настоящие сокровища рассыпаны у ее ног. От света воздух гудел, и в тело Евгения болью проникала память.

На Евгении была его старая шинель, такая жесткая и заскорузлая, что, казалось, сними ее, поставь — и она не сомнется. Пэтти надела свое серое пальтишко вроде как из кроличьего меха и повязала голову красным шерстяным шарфом. Черные волосы, которые опять начинали потихоньку курчавиться, темным облачком окружали ее круглое коричневое изумленное лицо. Она шла немного неуверенно, словно ей не хотелось взламывать золотящуюся под солнцем снежную корку. Она часто оглядывалась, чтобы посмотреть на оставляемые ими следы. Снег снизу был пушистей, голубей. Она смотрела на Евгения с восторгом и удивлением. Евгений радостно отвечал ей. Пар инеем оседал на его усах. Голова у него слегка кружилась — от света, от открывшейся вдруг безмерности прошлого. Он обнял Пэтти за плечи:

— А вам идет солнце. Забавно так думать, но мне кажется, вы никогда раньше не видели снега.

— И мне так кажется, что я его никогда прежде не видела.

— Конечно, это не настоящий снег.

— Настоящий, — возразила Пэтти.

— Да, вы правы, — секунду подумав, сказал Евгений.

Он чувствовал себя безумно счастливым. Его рука лежала на ее плече. Он вел ее.

— Где же река? Так хочется увидеть.

— Я покажу вам. Мы увидим реку. Мы увидим море.

Они шли по какой-то улице. Судя по следам, здесь до них уже проходили. Снег белыми волнами лежал на барьерах из темно-красного кирпича. Несколько человек прошли мимо них, закутанные в шарфы, все с какими-то застывшими восторженными улыбками на лицах. Евгений и Пэтти обогнули небольшое кафе и вышли из сумрака улицы на набережную. Изгиб величественной реки лежал перед ними, полноводной, быстрой, чья серо-стальная поверхность искрилась золотыми бликами. А за рекой, на горизонте — опять башни, купола, шпили на фоне неба,

сверкающего синевой, как отполированный до блеска камень.

— О! — воскликнула Пэтти.

Они стояли, наблюдая, как движется вода.

— Как быстро!

— Прилив.

— И такая широкая!

— Море близко.

— А где море?

— Там. Мы скоро туда поедем.

Евгений оперся на гранитный парапет. Снег, сухой и почти теплый, слегка припудрил рукава его пальто. Он снял перчатку и с удовольствием ощутил колкое прикосновение воздуха. Он чуть поскоблил снег пальцем и коснулся твердой грани. Свет, ослепительный, звонкий, чувство твердости камня, быстрое течение широкой реки, сияющая линия строений на горизонте — все это ошеломило его и подняло над землей. Он стал центром какой-то чистой, прозрачной вселенной, бесконечно вращающейся, безгранично спокойной. Там не было места, где могла бы затаиться тьма. Он сказал: «Пэтти, мне так радостно. Я в каком-то другом мире».

Он набрал полные ладони снега. Снег был легкий, почти невесомый. Он повернулся к Пэт-

ти. Она смотрела на него, тоже изумленная, улыбающаяся. От мороза ее коричневые щеки разрумянились, сделались темно-красными. Круглолицая, пухлая, с этим своим шарфом на голове, она была похожа на милого ребенка-крепыша. Евгении поднес ладони со снегом к ее щекам и вдруг почувствовал идущее от нее тепло. Снежок чуть припорошил ее разгоревшиеся щеки. Коричневая, жаркая, она смеялась рядом с ним.

— Ой, за шиворот насыпалось!

— Снимите перчатки, — сказал он. — Вы должны почувствовать снег. Он вовсе не холодный. Попробуйте.

Он взял ее руку, уже без перчатки, в свою. Коричневое на белом — ему хотелось это увидеть. И он медленно погрузил свою и ее ладонь в покрывающую гранит снежную толщу.

— Холодно!

— Чудесно.

— Похоже на ледяной сахар.

— О, Пэтти, мне так странно и хорошо. Вы не замерзли? Мне хочется спрятать вас за пазуху, как котенка!

— И я бы там мурлыкала.

— Позвольте вас согреть.

Он обнял ее. Но жесткая шинель стояла между ними, как доска. Он торопливо расстегнул верхние пуговицы и постарался притянуть Пэтти поближе. Прижимая ее руку к своей груди, подбородком пытаясь отвернуть воротник, он попробовал взять ее за талию. Ему так хотелось, чтобы она оказалась совсем рядом. Он прижимался, прижимал к себе скользкий меховой узел. Это было неуклюжее объятие. Они стояли лицом к лицу, неповоротливые в своих одеждах, не знающие как сблизиться, препятствующие друг другу. Пэтти смотрела мимо него, щеки у нее были влажны от растаявшего снега. Он чувствовал, как холодный воздух окружает его. Потом вдруг Пэтти сделала какое-то плавное движение и оказалась у него под пальто. Он ощутил тепло и тяжесть ее тела. Тихо засопев, она уткнулась ему в плечо. Шарф сполз с ее курчавых иссиня-черных волос. Евгений ласково провел по ним рукой. «Я люблю тебя, Пэтти», — сказал он.

«И я тебя», — невнятно, все еще прижимаясь к его плечу, проговорила она.

Евгений страстно вздохнул и попытался обхватить рукой меховое пальто. От их движения снег с парапета посыпался прямо им на ботинки. Пэтти сильней прижалась к нему. Она клонилась

к нему, как падающая колонна, и он чувствовал, как тепло от груди до коленей охватывает его. Держа ее за плечи, он принимал на себя ее тяжесть, решительно, безрассудно. Прошло несколько минут. Она медленно подняла голову, и он прижался к ее лицу. Он поцеловал ее щеку там, где оставил рукой снежный след. Он не сразу нашел ее губы. Потом он почувствовал, что Пэтти пробует отстраниться.

— Милый, — сказала она.

— Моя милая, — сказал Евгений.

— Так жалко, — сказала Пэтти.

— О чем ты жалеешь?

— Я не должна…

— Почему? Пэтти, мы не маленькие.

— Это неправильно…

— Так давай сделаем правильно. Пэтти, согласна ли ты стать моей женой?

— О…

— Не огорчайся, моя хорошая. Это только мысль. Мы все обдумаем, правда? Зачем нам торопить друг друга? Пэтти, пожалуйста…

— Хотеть на мне жениться ты не можешь, — сказала Пэтти. — Это невозможно.

Она отошла и остановилась, глядя на быструю воду реки, сжимая и потирая застывшие от мо-

роза руки.

— Ну, не будь же такой печальной. Я хочу. Почему бы мне не хотеть? Понимаю, что это неожиданно… Да и жених я не очень завидный…

— Нет, не в этом дело. Ты — замечательный. Но ты не знаешь… Я не могу быть женой. Я — плохая.

— Какие глупости.

— Ну… я цветная… и еще…

— Пэтти, голубушка, что ты несешь? Я так же могу тебе сказать: я — русский. Мы с тобой, ты и я, особенные люди, и мы оба одиноки, и мы нашли друг друга. Я хочу, чтобы ты знала. С тех пор, как ты появилась в доме, я чувствую себя таким счастливым. Что про меня сказать? Безнадежный неудачник и больше ничего. Но я могу стать другим. Я ведь не дурак. Если захочу, я могу неплохо зарабатывать. Мы будем жить в красивом доме…

— Нет, — сказала Пэтти, глядя в землю. Потом подошла и ткнулась головой ему в плечо: — Я люблю тебя, люблю.

— Пэтти, я так рад. Я испугал тебя своим предложением? Не волнуйся, времени много, мы успеем разобраться. Я хочу доказать тебе, что умею зарабатывать…

— Зарабатывать — какие пустяки.

— Мы все обсудим, Пэтти. Главное, что мы любим друг друга…

— Но ты не можешь меня любить.

— Не надо так говорить, — он прижал ее к себе, зарывшись подбородком в жесткие черные волосы.

Пэтти снова отстранилась от него. Она надела перчатки и поправила шарф.

— Ты… ты постой здесь, — сказала она с изменившимся лицом. — А я пойду.

— Пойдем вместе…

— Нет, останься. Я так хочу. Я найду дорогу.

— Ты подумаешь о моем предложении?

— Конечно, подумаю. Спасибо тебе… спасибо…

С каким-то неуклюжим достоинством она повернулась и медленно пошла прочь все той же осторожной, ощупывающей походкой. Евгений закрыл глаза. Он слышал скрип снега под ее удаляющимися шагами. Посмотрел вновь — ее уже не было.

Он недоверчиво огляделся по сторонам. То, что произошло, отделило его от внешнего мира так плотно, что сейчас, казалось, он вышел из какой-то маленькой комнатки, из запертого покушения. Набережная, как и прежде, была пустынна. На толстом снегу виднелись лишь их с Пэтти сле-

ды. Он окинул взглядом простор реки, вздохнул глубоко. И голова у него снова закружилась. Головокружение… нет, это вальс. Он кружится по снегу так легко и стремительно, что едва касается ногами морозного белого наста.

В теле его пробудилось какое-то новое чувство. Новое… или, напротив, очень старое. Что-то повлекло его вперед, он забросил голову, как пловец, отважно встречающий волну. И он вспомнил название этого чувства — счастье. Да, он женится на Пэтти, у него опять будет настоящий дом.

Он всматривался в горизонт. Там купола и шпили сквозь дрожащий воздух бледным золотом сияли на солнце, сливаясь со снежной далью. Нарядные многоколонные фасады, голубые и красновато-коричневые, под прерывистым снежным узором, уходили в перспективу вдоль бесконечных набережных; у каждого окна свой особый высокий белый гребень, у каждой капители свой особый белый орнамент. Низко на горизонте он видел город на берегах величественной, скованной льдом реки. Солнце с лазурного неба светило на мощные стены крепости, освещало ветхие башни Воскресения[16], гигантский

[16] Примечания: 16
Воскресенским монастырь.

золоченый купол Исаакия, вздыбленную бронзу Петра, тонкий светлый золотой шпиль Адмиралтейства.

Глава 15

«Будь умирание понято как законченность в смысле окончания рассмотренного рода, Дасейн было бы положено этим как наличное, соответствующее, сподручное. В смерти Дасейн ни вполне закончено, ни просто исчезло, ни тем более стало готово или как подручное вполне доступно. Наоборот, подобно тому, как Дасейн, пока оно есть, постоянно уже есть свое еще „не“, так есть оно всегда уже и свой конец. Подразумеваемое смертью окончание значит не законченность Дасейн, но бытие-к-концу этого сущего. Смерть — способ быть, которое Дасейн берет на себя, едва оно есть. Окончание как бытие-к-концу требует своего онтологического прояснения из способа бытия Дасейн. И предположительно лишь из экзистенциального определения окончания станет понятна возможность экзистирующего бытия того еще „не“, которое располагается „до“ его „конца“.

> Экзистенциальное прояснение бытия-к-концу дает впервые достаточную базу, чтобы очертить возможный смысл речи о целости Дасейн, раз уж эта целость должна конституироваться через смерть как „конец“.»[17]

Убирая в комнате Карла, Пэтти прочла эти слова в книге, которая лежала открытой на столе. Она прочла их, хотя это не было в полном смысле прочтением, потому что она абсолютно ничего не поняла. Слова звучали бессмысленно и грозно, как отдаленный набат какой-то гигантской катастрофы. Значит, так выглядит мир для людей достаточно умных и развитых, чтобы воспринимать его без прикрас? Значит, под кажущимся вот что скрывается?

Пэтти оставила совок и щетку и подошла к окну. Поезд прогрохотал под домом. Она все еще не привыкла к этому грохоту. Она поправила юбку. Застежка этим утром сломалась, а булавка то и дело расстегивалась. Был полдень, и солнце, туманное и красноватое, светило между яркими

---

[17] Примечания: 17

Мартин Хайдеггер. Бытие и Время. 1927. С. 245 (Пер. В. Бибихина). Дасейн — термин философии Хайдеггера, означающий «человеческое бытие» (в переводе В. Бибихина — «присутствие»; в данном тексте переводчик сохранил исконное звучание — с целью выразительности).

полосками облаков. Темная фигурка миссис Барлоу удалялась по снегу. Это Пэтти несколькими минутами раньше не пустила ее в дом. Снежное поле строительной площадки стало бело-розовым. Громады домов вдали, густо затененные с одной стороны и залитые красным светом с другой, тянулись к небу мешаниной кубов и конусов. Пэтти чихнула. Неужели простудилась? Карлу не нравится, когда у нее простуда. А может, просто пыль?

Целый день Пэтти тщательно избегала встречи с Евгением. И это было нетрудно, потому что Евгений, то ли из деликатности, то ли из-за опьяненности счастьем, тоже старался ее не тревожить. Пэтти переживала радость, смешанную с отчаянием. Оба чувства были так сильны, что она едва могла их разделить. Она не знала, что полюбит Евгения. Но теперь узнала, что полюбила, и особенной любовью, на которую уже и не надеялась.

Но тут же она останавливала себя: как же это возможно? Ведь она любит Карла и никого другого любить не может. И словами это не выразить. В паутину бытия, сплетенного ею вместе с Карлом, ничто постороннее проникнуть не может. Слишком темно, слишком душно там, внутри. Она

связана с Карлом узами настолько ужасающими, что легкомысленно называть их любовью. Она и есть Карл.

Что же тогда случилось этим утром? Под солнцем, под снегом наступило какое-то сумасшествие, какая-то неожиданная изумительная свобода. Черные годы исчезли из ее души, и она вновь ощутила это страстное стремление к другому, этот человеческий жест, который делает каждого из нас наиболее полно самим собой. Ей словно была дарована новая сущность. Всем естеством она устремилась к Евгению, не оставив нигде ни частички себя. Из ее черного окоченелого существования родилось что-то ясное и танцующее. Радость любви Евгения, радость своей воскресшей способности любить она пронесла через весь день. И все же — как это могло случиться?

Невинность, которой она одарила Евгения даже раньше, чем узнала его, теперь сияла вокруг него, как ореол. Мрак не касался его. Он любил ее просто, искренне. С ним она могла бы жить в невинности. В это утро на нее повеяло счастьем. Счастье заключено в Евгении, как и во всех безгрешных людях. Коснись — и оно просияет. И счастье осветило ее. Весь день ощущение счастья

сводило ее с ума. Она может быть счастлива с Евгением. Она может стать его законной венчанной женой, носить золотое кольцо и жить с ним в чистоте. Быть замужней женщиной, обыкновенной, любить светло.

Так может быть. Так не может быть никогда. О Карле нельзя рассказать Евгению. Он отшатнется в ужасе, если узнает. О признании не может быть и речи. Пэтти спросила себя: ты все еще любовница Карла? И ответила: да. В любой момент, когда захочет, всегда Карл может овладеть ею. Его воля, а не ее. Он — ее судьба. Верно, иногда она представляла, как уходит от него, представляла себя свободной. Пэтти, смиренно служащая благу. Но острое болезненное чувство подсказывало ей разницу между мечтой и реальной возможностью. Реальной возможностью была именно невозможность. И ей надо было учиться жить с этим противоречием.

«Но я люблю его», — повторяла Пэтти, словно простота этих слов могла спасти ее.

— Патюшечка.

Пэтти поспешно отвернулась от окна.

— Ты еще не закончила уборку?

— Только что закончила.

— Следы мышей видела?

— Нет.

— Странно. Я видел наверняка.

Пэтти стало вдруг мучительно стыдно. Кровь бросилась ей в лицо, сделав его черно-красным, словно вся чернота в ее крови взбунтовалась, чтобы изобличить ее.

— Не уходи, Пэтти. Я хочу поговорить с тобой.

Карл носил черные очки. Два глянцевитых овала смотрели непроницаемо, отражая розовый свет, отражая башенки города. Где-то в доме прозвенел колокольчик Элизабет и затих.

— Пэтти, будь добра, задерни шторы. Мне не нравится эта снежная белизна.

Пэтти выполнила приказ.

— Получше задерни. Еще свет пробивается.

Через секунду комната погрузилась в кромешную тьму. И тогда Карл включил настольную лампу. Он посмотрел на нее своим громадными темными ночными глазами, потом снял очки и потер лицо. Он начал ходить по комнате.

— Не уходи. Присядь где-нибудь.

В комнате было очень холодно. Пэтти села на стул около стены. Карл прохаживался: туда-сюда. Она заметила, что под сутаной ноги у него босые. Сутана развевалась и всякий раз, когда он проходил мимо, касалась ее коленей с какой-то грубой

лаской. Теперь Пэтти не сомневалась: Карл знает о ее отношениях с Евгением, как знает все, что происходит в ее сознании. В его присутствии она становилась рабой исходящей от него темной силы. Она закрыла глаза и что-то, может быть, ее душа, выпала из нее и покатилась под эти босые вышагивающие ноги.

— Патюшечка.

— Да.

— Я хочу поговорить с тобой серьезно.

— Да, — Пэтти сунула два пальца в рот и больно зажала их зубами.

— Давай включим музыку. Поставь сюиту из «Щелкунчика».

Пэтти подошла к патефону и неловкими руками поставила пластинку. Он знает о Евгении.

— Сделай громкость. Вот так.

Карл все еще ходил по комнате. Потом подошел к окну и слегка раздвинул шторы. Желтовато-красный свет заката мгновенно разрезал тьму. *Frere Jacques, Frere Jacques, donnes-vous?* Карл задернул шторы и повернулся в полутьме. Потом, не глядя на Пэтти, начал как-то сонно расстегивать сутану. Тяжелая черная ткань разошлась, как кожура плода, и обнаружила треугольник белизны. Карл начал освобождать плечи, и с тихим

шорохом черные одежды кучей опали вокруг его ног. Он переступил через них. Под сутаной у него была, кажется, только рубаха. Пэтти знала этот ритуал. Дрожь охватила ее.

— Иди сюда, Пэтти.

— Да.

Карл боком сел у стола. В рубахе он выглядел по-другому, стройным, молодым, почти беззащитным. Пэтти это всегда потрясало.

— Ты должна опуститься на колени. Я задам тебе ряд вопросов, а ты мне ответишь.

Пэтти встала на колени. Она не могла не прикоснуться к его ногам. И прикоснувшись, со стоном припала к ним и обняла.

— Очнись, Пэтти. Ты должна как следует выслушать меня.

Он мягко отстранил ее от себя. Она выпрямилась и посмотрела ему в лицо, выражение которого было почти скрыто от нее.

— Твое имя?

— Пэтти.

— Кто дал тебе это имя?

— Вы дали.

— Да, думаю, я и в самом деле твой крестный отец, твой отец в Боге. Ты веришь в Бога, Пэтти?

— Считаю, что верю.

— И ты любишь Бога?

— Люблю.

— И ты веришь, что Бог любит тебя?

— Верю.

— Пребывай в вере. В ней для тебя спасение.

— Пребуду.

— Твоя вера заботит меня, Пэтти. Это странно. Ты христианка?

— Надеюсь, что да.

— Ты веришь в искупление?

— Да.

— Ты понимаешь, в чем суть искупления?

— Не знаю. Я верю. Понимаю ли, не могу сказать.

— Ты хорошо отвечаешь. Согласна ли ты быть распятой за меня, Пэтти?

Пэтти вгляделась в полузатененное лицо. Лицо Карла, обычно защищенное странной неподвижностью, теперь обнажилось, словно сухая кора опала с него. Оно стало голым, влажным и свежим. А может, это только так казалось из-за глаз, сделавшихся вдруг огромными и внимательными. Пэтти видела его прекрасным, нежным и молодым.

— Согласна, — сказала она. — Но я не знаю, что вы подразумеваете.

— Будет суд, Пэтти, будет боль.

— Я вытерплю боль.

— Вытерпи ее с глазами, устремленными на меня.

— Да.

— Кто знает, может, ты сотворишь чудо для меня.

— Сделаю все, что могу.

— Мы давно вместе, Пэтти-зверушка. И ты никогда не оставишь меня?

Пэтти задохнулась от волнения. Она утратила голос.

— Нет, конечно, нет.

— Что бы я ни сделал, кем бы я ни стал, ты не покинешь меня?

— Я люблю вас, — сказала Пэтти. Она снова прижалась головой к его коленям. Рыдания душили ее. Теперь он не отстранял ее, а гладил по волосам, нежным, еле слышным прикосновением.

— Женщине нравится думать, что любовь всесильна. Это их особый предрассудок. А может, и не предрассудок. Всесильна ли любовь, Пэтти?

— Думаю, что всесильна. Надеюсь, что всесильна.

— Будь верна своей любви.

— Буду.

— Пэтти, мой черный ангел, я хочу связать тебя путами, которые ты не сможешь разорвать.

— Я уже связана.

— Нет, я хочу обожествить тебя. Раньше я не мог. Я хочу сделать тебя своей черной богиней, своей антидевственницей, своей Анти-Марией.

— Я знаю, что я плохая…

— Ты великолепная. Ты моя Фея Драже. Счастлив мужчина, у которого есть и Фея Драже, и Царевна-Лебедь.

— Я хотела бы стать лучше…

— Ты — гусыня, Пэтти, милая, милая шоколадная гусыня. Ты — моя, ведь так?

— Да, да, да.

Карл наклонился вперед. Руки его легли Пэтти на плечи. Он опустился на пол, закрывая свет. Пэтти со стоном упала на спину, и тьма окутала ее. Она чувствовала на себе его руки, расстегивающие блузку.

— Дождь, Пэтти, полный благодати. Господь с тобою, благословенна ты между женами.

Глава 16

— А вдруг она закричит?

— Не закричит.

Мюриэль и Лео смотрели друг на друга в спальне Мюриэль. В комнате было темно и холодно. Солнце сегодня не светило. Мюриэль присела на кровать. От волнения у нее подкашивались ноги.

Она твердо решила познакомить Лео с Элизабет. Под влиянием чего, на самом деле, дозрело решение, она сама толком и не понимала. Конечно, и Шедокс сыграла в этом свою роль. Шедокс не увидела в этом замысле чего-либо предосудительного. Сначала она долго упрашивала Мюриэль еще раз подумать о поступлении в университет, а затем, уже в конце разговора, вдруг вспомнила о ее идее. Шедокс сказала: «Да, познакомь ее с этим мальчиком и незамедлительно. Как же у вас в доме все тяжело и неестественно!» Но ведь Шедокс совершенно не знает, каким образом обстоят дела. Разве что догадывается. Она ведь вовсе не глупа.

Для Шедокс в предполагаемом знакомстве все

было исключительно просто и понятно. На самом же деле все обстояло далеко не так. Готовился странный и многозначительный ход в некой игре, сути которой Мюриэль и сама до конца не понимала и в которую она, как ей казалось, включилась с какого-то времени. Ход грозил ответным ходом. Мюриэль была вне себя от волнения. Перед Лео она пыталась казаться спокойной, но без особого успеха. Уловив ее настроение, он теперь волновался не меньше.

Почему этот ход, целью которого было просто нарушить закостенелый порядок, почему он теперь стал казаться таким необходимым? Размышляя над этим, Мюриэль вновь и вновь слышала властный голос отца: «У нас есть сокровище, которое мы вместе должны охранять». И еще вспомнились ей слова: «Элизабет — лунатик». И как он повторял: «Она пытается нас покинуть». Перед ней предстало неподвижное, напряженное лицо Карла, его улыбка, больше похожая на гримасу боли.

Расшевелить Элизабет, разбудить ее, совершить что-то неожиданное, просто увидеть, как она говорит с другим человеком, — всего этого жаждала Мюриэль тем сильнее, чем больше обострялось в ней чувство самосохранения. Уе-

диненность Элизабет, паутина, которую она, по выражению Карла, плела, грозила и Мюриэль. Какому-то процессу, который начался слишком давно — и не без ее, Мюриэль, участия, — необходимо было положить конец. Если этого не сделать сейчас, то однажды можно обнаружить себя в безысходности — вместе с Карлом и Элизабет. Ради собственного спасения, ради спасения Элизабет нужны громкие голоса, выкрики, хлопанье окон, топот шагов.

Помимо этого Мюриэль манило и нечто иное. Ей непременно хотелось… напустить Лео на Элизабет. Но тут, если она и волновалась, то это было куда более приятное волнение. Они оба такие красивые! Свести бы их вместе! Пусть всего-навсего в одной комнате. Это было бы похоже на бракосочетание двух редких животных. Воображение уже рисовало перед Мюриэль картину предстоящего. Какая-то глубокая непостижимая любовь, которую она питала к кузине, шла рука об руку с этим планом. И неудивительно, что и Лео дрожит в предвкушении чего-то необычного. Он чувствовал это предвкушение в Мюриэль. Но к волнению ее примешивался и страх. Она боялась Карла и если и говорила себе: «Ничего он мне не сделает», знала — кое на что он был способен.

Так в детстве, хотя он ни разу не ударил ее, к ней приходило откуда-то знание о самых ужасных наказаниях. Боялась она и реакции Элизабет.

Мюриэль выглянула из комнаты, прислушалась. Поезд прогрохотал под землей. Пэтти как всегда спорила у дверей с миссис Барлоу. Мюриэль повернулась к Лео.

— По-моему, у меня простуда, — сказал он. — Ей может не понравиться.

— Ах, отстань со своей простудой.

— Мне страшно. Не лучше ли ее предупредить?

— Она скажет, что не хочет тебя видеть.

— Очень странная девушка. А с головой у нее все в порядке?

— В порядке. Она милая и умная. Сам убедишься.

— Думаешь, я ей понравлюсь?

— Понравишься, наверняка.

— Но о чем она… о чем мы будем говорить?

— Не знаю, — сказала Мюриэль. Она и в самом деле не знала. Не знала даже, не закричит ли Элизабет. — Ты будешь вести себя разумно, Лео? То есть не бросишься на нее, ничего такого не сделаешь? Ведь она живет очень замкнутой жизнью.

— Броситься? Да я не знаю, хватит ли у меня

смелости просто заговорить с ней!

— Заговоришь, заговоришь. Главное веди себя естественно.

— Естественно? Ничего себе совет.

— Ну, кажется, пора идти.

— Мюриэль, я не перенесу. Я боюсь. Нельзя ли как-то по-другому устроить?

— По-другому нельзя.

— И именно теперь надо идти?

— Теперь.

— Погоди, я сейчас.

Он посмотрел на себя в трюмо, пригладил свои меховые волосы, поправил воротничок рубахи: сегодня он был одет более аккуратно и, отметила Мюриэль, менее к лицу, чем обычно. А может, так казалось оттого, что его обычная дерзость куда-то улетучилась. Худой, дрожащий от робости мальчишка — вот и все, что о нем можно было сказать в эту минуту.

— Ты не думай, я тебе очень благодарен, — сказал Лео. — Но я сейчас столько об этом думаю. Уговариваю себя, что это обыкновенное знакомство с девушкой, но на самом деле вовсе не обыкновенное. Во рту пересохло. Знаешь, Аристотель говорит, что у человека даже может все внутри пересохнуть, если ему скажут, что у него

украли коня…

— Сейчас не до Аристотеля, идем.

Мюриэль опять выглянула, прислушалась. Дом молчал. На нижней площадке находилась комната Карла. Дверь туда была закрыта. Мюриэль крепко взяла Лео за руку и вывела в коридор.

Она дрожала. Открыть дверь в комнату Элизабет и войти вместе с Лео. Неужели это так трудно и страшно? Неужели достаточно открыть дверь, и будущее станет иным? Нет, ничего неожиданного не случится, успокаивала себя Мюриэль. Позднее сама буду удивляться своему волнению.

Комната Элизабет находилась на полпролета выше. Ведя за собой Лео, Мюриэль почти добралась до площадки. И тут услышала шаги. Кто-то там, внизу, взбирался по ступенькам. Судя по тяжелым, неуклюжим шагам, это была Пэтти. Мюриэль на миг словно парализовало. Она представила, что сейчас предстанет перед взглядом Пэтти — она и Лео рядом, возле комнаты Элизабет. Какой ужас, какой стыд! Пэтти закричит, побежит звать Карла.

Укрыться в комнате Элизабет! Что-то мешало Мюриэль сделать это. Ворваться и мгновенно потребовать молчания — так нельзя. «Быстро», — шепнула она. Двумя прыжками достигла

бельевой, распахнула дверь и втолкнула туда Лео. Вбежала сама и осторожно прикрыла дверь. Как раз в тот миг, когда Пэтти показалась из-за поворота лестницы. Только бы она не шла сюда, в бельевую!

Шаги прошлепали мимо и остановились дальше, у стенного шкафа, где хранилась фарфоровая посуда, которой почти не пользовались. Мюриэль слышала, как она возится там, позвякивая чашками и блюдцами. Лео начал что-то говорить, но Мюриэль закрыла ему рот рукой.

Пэтти перебирала посуду. А потом раздались еще какие-то звуки. Это чуть слышно заиграл приемник в соседней комнате, у Элизабет. На расстоянии вытянутой руки! Мюриэль чувствовала: сердце в груди бухает, как молот. Словно какое-то громадное существо дышит на весь дом. Свет пробивался сквозь узкую щель в стене. О ней Мюриэль не забывала ни на миг. Грохоча и сотрясая все в доме, прошел где-то глубоко под ними поезд.

Под его грохот Лео прошептал: «Кто там, в коридоре?»

— Пэтти. Она нас не видела. Подождем.

Мюриэль чувствовала страстное желание посмотреть сквозь щель, заглянуть в комнату ку-

зины. Она и так долго выслеживала Элизабет, как охотник добычу. Увидеть Элизабет невидимую казалось пиком этой столь долгой охоты. На минуту она почти забыла о присутствии Лео, словно все происходящее относилось только к ней одной. Она чувствовала в себе дерзость и свободу. Но Лео рядом. А он ни в коем случае не должен знать, что Элизабет в соседней комнате. Он пока слушается, но вполне может выйти из-под контроля. Даже такой Лео, усмиренный, стал бы для Элизабет немалым потрясением. Если сейчас, в этот напряженный миг, он узнает, что Элизабет рядом, узнает о щели, в которую можно подглядеть, то вполне может превратиться в дикаря.

Элизабет очень различимо вздохнула. Тут же, рядом с ними. Сама того не желая, Мюриэль испытующе посмотрела в темноте на Лео. Она увидела: он вопросительно осматривает стену. Еще один поезд прогрохотал.

— Она там?

— Да.

Мюриэль почувствовала, как он крепко сжал ее руку. Он смотрел как-то боком, в сторону щели. А там, в коридоре, Пэтти все еще перебирала посуду.

Под гром следующего поезда Лео сказал: «Мо-

жет, заглянем?»

— Нет.

— Ну, пожалуйста! Девушка прячется за ширмами, а мы глядим на нее тайком. Как в Японии. Ну, позволь.

Звук поезда затих. Мюриэль стояла выпрямившись рядом с Лео в тесном темном пространстве. Она слышала мягкое бормотание приемника и беспорядочное позвякивание посуды. Какой-то тихий шорох в соседней комнате, и снова вздох. Мюриэль затаила дыхание. Ей показалось, что ее тело увеличивается, делается каким-то странным. Потом поняла: это Лео прижался к ней и ощупывает от плеч до коленей. Он начал что-то горячо шептать ей на ухо. «Нет», — ответила Мюриэль, хотя толком не поняла, что он сказал. Ох, как ей хотелось заглянуть в щель! Она схватила Лео за руку. Удерживала его? А может, себя? Она чувствовала: в ней растет что-то безумное, опасное. Она с силой прижалась к Лео. Они держали друг друга, как падающие ангелы. «Нет».

Музыка струилась сквозь светящуюся полоску, усыпляющая, манящая. Мюриэль двумя руками держалась за руки Лео, чувствуя на лице его мягкие, по-детски пахнущие волосы. Ясно, но почти беззвучно он прошептал ей на ухо: «Ты меня сюда

привела. Не своди меня с ума!»

— Но она может быть не одета, — Мюриэль почти сдавалась. Это были слова предателя.

— Ну хорошо, загляни сначала ты, — согласился Лео.

Судя по звукам, Пэтти еще не ушла из коридора. Мюриэль теперь знала, что посмотрит наверняка, не сможет не посмотреть. Но неужели это так значительно — украдкой увидеть кузину? С какой стати эта дрожь? Да, значительно, тут же отвечала себе. Элизабет — тайна, великий секрет. Беда тому, кто его нарушит. Элизабет — табу. Но теперь Мюриэль шла вперед безрассудно, словно на сладкозвучный голос сирены. Она благоговела и ужасалась подобно тому, чей дух слабеет возле пещеры прорицательницы.

— Ты будешь меня слушаться?

— Да, да, но давай взглянем.

Лео, горячий, трясущийся, прицепился, как насекомое, к ее боку. И все время почему-то тихо шипел. Мюриэль отстранила его и отвернулась. Полоска света оказалась прямо перед ее лицом. Мюриэль казалось, что это ее губы издают этот шипящий звук. Она опустилась на одно колено, наклонилась к полке и отодвинула стопку белья, закрывающую нижнюю половину щели. И еще

больше наклонилась вперед.

Щель была узкая. Сквозь такую не просто заглянуть. Мюриэль изо всех сил прижималась к стене, перемещалась, пытаясь сфокусировать взгляд. Сначала кроме тьмы и резкого ослепительного света она ничего не могла разглядеть. Потом постепенно начало проясняться.

Ей казалось, что она глядит в прозрачную воду. И только потом поняла, что смотрит прямо в большое французское зеркало. Свет, как легчайший занавес, струился между нею и стеклом. Она всматривалась в пропасть зеркала, пытаясь различить смутные, дымные формы отражений, принадлежащих какому-то замкнутому, далекому миру по ту сторону знакомой теплой ясности. Вот начали вырисовываться альков и изголовье постели Элизабет.

Мюриэль почувствовала, как ее тронули за плечо. Она отмахнулась, пытаясь восстановить утраченную четкость образа. И наконец ей удалось поймать маленький кружок абсолютной ясности. Она увидела край шезлонга, почти упирающийся в своего зеркального двойника. Дальше виднелась смятая, разбросанная постель. Она видела: Элизабет лежит на постели. Ясно и вместе с тем призрачно виднелась голова Элиза-

бет, шевелящаяся, полускрытая потоком волос, и ее обнаженное плечо. Там были и еще какие-то движения, еще какие-то формы, сплетение слишком многих рук. И она увидела поднимающееся из объятий, над закрытыми глазами и струящимися волосами, белое и страшное обнаженное тело отца.

Мюриэль отпрянула от щели. Медленно, с силой и точностью стальной машины она поднялась на ноги и замерла посреди темной комнаты, неподвижная, как башня, прямая, сосредоточенная. Не сразу, с большим трудом до нее доходил смысл увиденного. Она поняла, что рядом Лео, что он дергает ее за руку. Еще один поезд прошел.

— Теперь можно посмотреть?

— Она голая.

— Дай посмотреть.

— Нет.

— А я посмотрю.

И Лео начал отталкивать ее. Мюриэль не уступала. Лео, прошептав что-то, толкнул сильнее. Она схватила его одной рукой за пояс, а другой дернула за волосы. Он зацепился ногой за ее ногу и потерял равновесие. С оглушительным грохотом они повалились на пол и там продолжили борьбу. Яркий свет вспыхнул в комнате.

— О, простите, — раздался голос Маркуса Фишера.

С букетом хризантем и каким-то коричневым свертком он вырисовывался в дверном проеме, а из-за его плеча выглядывало темное, испуганное лицо Пэтти. Лихорадочно пытаясь оторваться друг от друга, Лео и Мюриэль покатились по полу.

— Виноват, — проговорил Маркус. — Ужасно виноват.

Мюриэль пыталась встать на ноги.

— Извините, — сказал Маркус. — Ах, какой же я глупец. Я искал комнату Элизабет. Конечно, вот она, эта дверь, следующая.

И он попятился.

Мюриэль видела, как он вышел в коридор, и услышала голос. Пэтти что-то взволнованно говорила ему. Мюриэль добралась до двери. Перевела дыхание. Держась за косяк, она закричала что было сил, оглушительно и звонко, впервые в жизни называя отца по имени:

— Карл! Карл! Карл!

Глава 17

«КАРЛ! КАРЛ! КАРЛ!»

Маркус Фишер — он оцепенел от неожиданного зрелища: Лео и племянница обнимаются на полу в чем-то, похожем на большой шкаф для белья, — совсем растерялся от этих пронзительных, звенящих выкриков имени его брата. Необъяснимый крик, наполненный страхом и угрозой, замер, а Маркус все еще не мог сдвинуться с места и не замечал, как цветы один за другим падают из его рук на пол.

Что-то пулей просвистело мимо. Это Лео промчался к лестнице и мгновенно исчез из виду. Топот его отдаляющихся шагов смешался с подземным рычанием поезда. Дом задрожал мелкой дрожью. Маркус понял: перед ним стоит Мюриэль. Совсем близко. Смотрит на него, прислонясь к закрытой двери. Лицо похоже на лицо древней набальзамированной мумии, напряженное, обтянутое кожей, немо зияющее прорезью безгубого рта. За его спиной Пэтти все еще что-то озабоченно говорила, говорила, но он не разбирал ни слова. Он отпрянул от обеих женщин, повернулся

и положил цветы на стол. «Сделан из мраморной мозаики», — почему-то отметил он. Коричневые кусочки, зеленые, белые. В коридоре было полутемно. Он оглянулся. Ему показалось, что сейчас он увидит высокую фигуру брата, приближающегося со стороны лестницы.

В коричневом свертке, который Маркус все еще держал под мышкой, находилась икона Троицы, представленной в виде трех ангелов. Ему пришлось заплатить антиквару триста фунтов. Но он поступил именно так, как и хотел поступить. Когда он узнал о странной ситуации, в которой оказался Лео, сердце подсказало ему, как действовать. Относительно всего происходящего он чувствовал стыд, но стыд, откровенно говоря, даже приятный. Он понимал: нужно посуровей держаться с Лео, более холодно и с большим достоинством. Но тут же осознавал, что слаб, и суровость ему не по силам. Мальчик руководил им, и они оба прекрасно это знали. Но именно слабость и была приятна.

Чему еще был рад Маркус, так это возможности вдруг заняться делом, связанным с обитателями пасторского дома. Ему до боли хотелось вновь увидеть брата, увидеть его лицо, скрытое во время их последней встречи. В сновидениях это

лицо выглядело изменившимся, лицом демона. Надо, чтобы призрак исчез, чтобы место этих тревожных видений заняла реальность, земная и понятная. А если подумать об Элизабет, то решительность становилась еще более необходимой. Ведь внутри его сознания поселилась иная Элизабет, и никакие разумные доводы здесь не помогали. Место невинной и милой девушки грозила занять Медуза. Ему надо увидеть Элизабет, настоящую Элизабет, и тем прекратить процесс, который развивался в нем помимо воли.

Возвращение иконы предоставило ему повод для визита и даже, возможно, право на вход. Маркус намеревался справиться о Евгении и заручиться поддержкой Пешковых в своих дальнейших действиях. И с самого начала ему повезло, дверь навстречу отворил как раз выходивший из дому электрик. Как во сне Маркус вошел в дом. Нигде никого не было видно. Он знал, думал, что знает, где комната Элизабет. Это он уже вычислил во время своих ночных блужданий вокруг запретного дома. Теперь осталось одно: подняться по ступенькам и попытаться как можно скорее предстать перед невинным существом, которого он так нелепо начал бояться.

— Ну, Маркус.

Это был Карл. Маркус смотрел на пуговицы его черной сутаны и только потом отважился посмотреть в лицо. Лицо сияло, как будто покрытое эмалью, как будто фарфоровое, и Маркус впервые заметил, какие у брата синие глаза — синие, как небо, как цветы. Глаза смотрели на него с белой ткани лица. Темные волосы отливали глянцем, как птичье перо.

— Идем, Маркус.

Маркус, словно зачарованный, последовал за братом. Мюриэль и Пэтти промелькнули в его поле зрения и исчезли, как случайно вошедшие в кадр прохожие. Маркус шел за Карлом так близко, что едва не наступал на край сутаны. Вниз по ступенькам, вверх по еще каким-то ступенькам и в какую-то дверь. Затененный свет обнаружил открытую книгу и стакан молока. Дверь за ним затворилась.

— Не сердись на меня, — сказал Маркус.

Наступило молчание. Потом Карл издал какой-то низкий звук, похожий на смешок.

— Все хорошо, брат. Садись, брат.

Маркус понял, что держит в руках цветы. Значит, он и сам не заметил, как взял их с мраморного столика. Теперь он положил их вместе с коричневым пакетом на письменный стол и

вдохнул душноватый аромат коричневых и желтых хризантем.

— Маркус, Маркус, просил же я тебя оставить нас в покое.

— Мне неловко. Понимаешь, я…

— Считай, что мы умерли.

— Но ты жив. И Элизабет…

— Ты ничем не обязан Элизабет.

— Тут какое-то недоразумение, — он чувствовал себя до сумасшествия красноречивым и даже отважился на требовательный тон. — Вопрос не в обязанностях. Просто Элизабет не дает мне покоя. Я все время думаю о ней. И это такие странные мысли. Я просто должен увидеть ее. Я не могу работать, ничего не могу делать.

— Ты сказал «такие странные мысли». Я не понимаю.

— Не знаю… Мне снятся страшные сны о ней, будто она изменилась… Понимаешь, ради спасения собственного рассудка я должен увидеть ее.

— Возможно, позднее. Посмотрим. Элизабет сейчас нездорова.

— Боюсь, я не верю больше ни одному твоему слову, — сказал Маркус. Он чувствовал себя необычайно возбужденным. Он всматривался в Карла, который стоял перед ним вне прямого

света лампы.

— Не все ли равно, — со вздохом произнес Карл. Вздох перешел в зевок.

— Не надо так, Карл. Я хочу поговорить с тобой серьезно.

— О чем, мой милый Маркус? Может, ты ждешь воспоминаний о нашем детстве?

— Нет, конечно, нет. Я хочу поговорить о тебе, о твоих мыслях, о твоей сущности.

— Тяжкий вопрос, тебе не по силам.

— Знаешь ли ты, что некоторые считают тебя сумасшедшим?

— И ты?

— Нет, я так не считаю. Но ты ведешь себя странно, никого не хочешь видеть… и все, что ты мне сказал в последнюю нашу встречу… Правда, что ты потерял веру?

— У тебя такой старомодный словарь. Иными словами, ты хочешь знать: думаю ли я, что Бога нет?

— Да, хочу знать.

— Да, я так думаю. Бога нет.

Маркус устремил взгляд на высокую неподвижную фигуру, наполовину окутанную тьмой. Слова, произнесенные Карлом, прозвучали твердо и уверенно. Это были те самые слова, которые

Маркус сам привык считать своего рода общим местом. Но произнесенные, они с новой силой потрясли его.

— Значит, в последний раз ты говорил серьезно? Не подшучивал надо мной?

— Ни к чему мне шутить над тобой, Маркус, тем более вводить тебя в заблуждение.

— Но, Карл, если ты и в самом деле утратил веру, тебе нельзя больше быть священником. Твоя должность…

— Моя должность — быть священником. Если нет Бога, моя должность — быть священником без Бога. А теперь, мой милый Маркус…

— Пожалуйста, еще минуту, Карл. Объясни мне…

— Помолчи немного.

Карл повернулся и стал мерить шагами комнату. Маркус сидел сгорбившись. Он не мог двинуться, словно его зачаровали.

Спустя какое-то время Карл сказал:

— Хорошо, давай поговорим, почему бы и не поговорить. В прошлый раз я представил тебе вульгарную доктрину. А теперь ты хочешь, чтобы я познакомил тебя с истинным положением вещей?

Хотя Маркус и сопротивлялся, но все равно был

близок к мысли, что его брат сумасшедший. Он боялся Карла. И, сам того не желая, тихим голосом произнес:

— Нет, теперь бы мне не хотелось.

— Никому не хочется, Маркус. Ведь это тайна тайн в этом мире. Даже если я открою тебе, ты не сохранишь ее в своем сознании, потому что это слишком тяжкая ноша, — Карл все еще ходил по комнате, но не прямо, а как бы раскачиваясь туда-сюда. Сутана шелестела и развевалась, опадала и опять приходила в движение. — Ты не можешь себе представить, как часто я имел искушение провозгласить с кафедры, что Бога нет. Это было бы наиболее религиозное заявление, которое только можно представить. Если бы нашелся достойный произнести его и достойный воспринять.

— Оно не так уж ново…

— О да, эти слова произносились часто, но только никто им не верил. Возможно, Ницше немного верил. Но его эгоизм художника вскоре отгородил его от правды. Он не мог ее перенести. Может быть, именно это и свело его с ума. Не сама правда, а неспособность перенести ее созерцание.

— Я не вижу в этой правде ничего ужасного, — сказал Маркус. — Атеизм способен быть вполне

гуманной доктриной…

— Истина не такова, какой воображали германские теологи, не такова, какой воображали рационалисты с их водянистым современным теизмом, не такова, как думали те, кто называли себя атеистами, а на самом деле не изменили ничего, кроме нескольких слов. Теология так долго восседала на троне. Ей кажется, что она еще может править, как королева в изгнании. Но теперь все иначе, toto caelo[18]. Люди вскоре начнут ощущать последствия, но не сразу поймут, в чем дело.

— А ты понимаешь? — пробормотал Маркус. Он нащупал что-то на столе. Поднял. Это была бумажная стрела.

Карл продолжал:

— И тут не просто, что «все позволено». Такое толкование — это детский лепет. Да никто никогда и не отваживался заявить, что искренне верит в эту вседозволенность. Чего ж хотели эти преобразователи? Всего-навсего какой-то новой морали. Истина же ускользнула от них. Хотя само представление об истине уже было бы для них смертельно.

---

[18] Примечания: 18
Во всех отношениях *(лат.).*

— Но все равно мораль остается…

— Положим, истина была ужасна, положим, она была похожа на черную яму или на птицу, бьющуюся в пыли темного шкафа. Положим, только зло было реальным, только какое же это зло, если оно утратило даже свое имя. Кто бы мог созерцать его? Философы никогда даже не пытались. Все философы проповедовали этакий необременительный оптимизм, даже Платон. Философы не более, чем передовой отряд теологии. Они верят, что Благо находится в центре вещей и распространяет на них свой свет. Они не сомневаются, что Благо едино и всеобще. Они уверены в этом или же обожествляют общество, что в общем-то одно и то же. Лишь немногие из них по-настоящему боялись Хаоса и Древней Ночи, и лишь единицы улавливали мельком… И если им случалось через какую-то щель, через какое-то отверстие в поверхности взглянуть на истину, они тут же мчались к своим столам, они трудились усерднее, чтобы только доказать: это не так, этого не может быть. Они страдали, они даже жизнью жертвовали за свою аргументацию и называли ее истиной.

— Но ты сам веришь?..

— Любое толкование этого мира не более, чем

ребяческая забава. Разве это не очевидно? Вся философия — это лепет дитяти. Иудеи отчасти понимали это. Только их религия содержит в себе подлинную мужественность. Автор Книги Иова понимал это. Иов просит смысла и справедливости. Ягве отвечает: нет ни того, ни другого. Есть только сила и чудо власти, есть только случайность и ужас случайности. И если существует только это — Бога нет, и единое Благо философов есть только иллюзия и фальсификация.

— Подожди, — сказал Маркус. Его голос прозвучал в пространстве комнаты неожиданно резко и грубо, как будто до этого слова Карла не звучали, а бесшумно проникали в сознание путем телепатии. — Подожди минуту. Я, может быть, отчасти и согласен с тем, что ты сказал. Тем не менее, обыденное пристойное поведение еще имеет смысл. Ты же говоришь так, будто…

— Если добро существует, оно должно быть едино, — сказал Карл. — Множественность — это не язычество, а триумф зла, точнее, того, что когда-то называлось злом, а теперь утратило имя.

— Я не понимаю тебя. Люди могут спорить о морали, но рассудок остается с нами…

— Исчезновение Бога не просто оставляет зияние, в котором человеческий рассудок может

парить. Смерть Бога дает свободу ангелам. Они-то и ужасны.

— Ангелы?..

— Существуют начала и силы. Ангелы — мысли Бога. Теперь он распался на множество мыслей, непостижимых для нас ни в своей природе, ни в множественности, ни в силе. Бог был, по крайней мере, наименованием чего-то, что мы считали добром… Теперь даже имя пропало и духовный мир распался. Отныне ничто не в силах предотвратить магнетизм многих духов.

— Но, но… есть добродетель, что бы ты ни говорил, есть мораль, есть наша забота о других…

Карл тихо рассмеялся:

— А есть ли другие? Разве что причинение боли чревато последствиями, убеждающими нас в существовании других. Всякого рода альтруизм лишь укрепляет наше эго. Насчет этого вряд ли могут быть сомнения. Только в результате величайшего заблуждения мы не видим этого. Нет, нет, все мы дети случайности, управляемые силами, остающимися для нас тайной. Что самое важное в тебе, Маркус, и во мне? То, что мы были зачаты случайно. То, что мы можем выйти на улицу и попасть под автомобиль. Наше подчинение случаю даже больше, чем наша мораль,

делает нас потенциально духовными. Но в то же время это делает дух неуловимым для нас. Мы глина, Маркус, и нет для нас иной реальности, кроме непостижимого чрева Бытия, куда мы все возвращаемся.

— Хорошо, существовали иллюзии… но теперь мы знаем правду и можем начать с этого пункта…

— Правды мы не знаем, потому что она, как я тебе уже говорил, непереносима. Люди будут бесконечно скрывать от себя, что добро — это только слово, если оно ничему не служит. Вся история философии, вся теология есть один акт сокрытая. Старое заблуждение миновало, но есть иллюзии иного рода, иллюзии ангелов, которые нам трудно вообразить. Надо быть добрым для пустоты, без воздаяния, в мире Иеговы и Левиафана, и вот по этой причине добро невозможно для человеческого существования. Оно не только невозможно, но лаже невообразимо, мы не в силах по-настоящему назвать его, в нашем царстве оно не существует. Идея пуста. Это же можно сказать и об идее Бога. Но еще справедливей это прозвучит по отношению к идее Блага. Было бы утешением, было бы благословением думать, что после смерти Бога начнется эра подлинного духа,

потому что все бывшее до — было фальшивым. Но такое представление в свою очередь было бы ложью, и в самом деле так лжет современная теология. С иллюзией о Боге или без нее — добродетель для нас невозможна. Мы стоим слишком низко в иерархии вещей. Бог сделал невозможной подлинную святость. Теперь Он исчез, но свобода для святости все равно нам не открылась. Мы — добыча ангелов.

Дом тихо дрожал от подземного гула. Маркус посмотрел на то, что сжимал в руке. На смятую в комок бумажную стрелу. Маркус почувствовал, что рот его открыт в беззвучном крике, как у изгоняемого Адама. Карл неподвижно глядел на книжные полки. Глаза его были полузакрыты, по лицу бродило сонное, мечтательное, почти сладострастное выражение. «Я должен ответить ему, — подумал Маркус, — я должен ответить». Он чувствовал — какая-то зловещая, грозная структура возникает перед ним. Он сказал, почти выкрикнул: «Ты ошибаешься! Есть факты! Есть реальность! Люди любят друг друга…»

— Любить можно только ангела. Но это ужасное дело нельзя назвать любовью. Те, с кем общаются ангелы, пропащие души.

— Я изменил свое решение, — сказал Маркус. —

Я думаю, что ты сумасшедший.

— Тогда уходи, уходи, мои невинный брат. Возвращайся к своей тепленькой теологии. Где был ты, Маркус, когда я полагал основания земли, когда все светила дневные соединялись в едином хоре, когда все сыны Бога вопияли в радости?

Маркус поднялся.

— Значит, ты и дальше собираешься быть священником? Продолжать этот фарс, продолжать со всем тем, что внутри тебя?

— Это не имеет значения. Когда я отправляю богослужение, я — Бог. Nil inultum remanbit.[19] Хотя то, что пошлет мне великая сила Небес, будет не отмщением. Это будет их, Небес, последней милостью. Тем временем я останусь там, где я есть. Я останусь, мой Маркус. Я подожду, пока все это закончится.

Имя, произнесенное Карлом так, как он привык произносить в детстве, пронзило вдруг Маркуса совсем иным чувством, теплым и расслабляющим, жалостью, больше к себе, чем к брату. Он всматривался в лицо брата, ища в нем признаки заботы, отчаяния, но видел лишь отвлеченность, бледную усмешку, уход в себя.

---

[19] Примечания: 19
Ничто не останется неотмщенным *(лат).*

Маркус чувствовал, что его отвергли, может быть, уже забыли. Но он не мог вынести такой финал. Он хотел привлечь внимание Карла к себе даже ценой гнева. Он сказал:

— Я принес эти цветы для Элизабет.

Карл медленно повернулся, посмотрел как-то неопределенно и подошел к столу. Он потрогал влажные головки хризантем.

— А что в свертке? Это тоже для Элизабет?

Маркус не сразу вспомнил, почему икона у него. Он сказал смущенно, в замешательстве:

— Это икона… думаю, ты о ней знаешь… Евгения Пешкова…

— А, этого поляка.

— Он — русский.

— Можно посмотреть?

Карл принялся снимать бумагу. Под прямым светом лампы, рядом с поникшими цветами, солидный деревянный прямоугольник вспыхнул золотом и синевой. Три смуглых ангела, отягощенные смирением и неудачей, сидели вместе, грациозные и отрешенные, держа свои стройные посохи, склонив друг к другу маленькие головы под огромными мягкими нимбами, паря на своих престолах в светлом эфире.

Карл осторожно положил икону на стол. Он

пробормотал что-то.

— Что ты сказал? — спросил Маркус.

— Высокие.

— Высокие?

— Они должны были быть очень высокими.

Маркус взглянул на Карла. Тот все еще не сводил глаз с иконы и снова улыбался раскованной, счастливой улыбкой.

— Несомненно, это Троица, — кашлянув, сказал Маркус.

— Как могут эти трое быть одним? Вот подтверждение моих слов. А теперь, Маркус, уходи.

Маркус помедлил в нерешительности. Как будто уже все сказано. Чувство теплой растроганности вновь охватило его. Ему хотелось плакать. Он спросил: «Мы увидимся снова?»

По-прежнему глядя на икону, Карл не ответил.

— Я увижу тебя снова, Карл?

— Иди.

Маркус сделал несколько шагов к двери. Он не мог забрать икону из рук Карла. Невозможно, мучительно так холодно расстаться. Нельзя покидать Карла с такими мыслями. Все сказанное надо аннулировать. Колдовству надо дать обратный ход и все возвратить на прежние места. Ему вдруг захотелось прикоснуться к брату. Он

вернулся и, чуть наклонившись, сжал рукой полу его черной сутаны.

— Не трогай меня.

Карл сделал резкое движение и вырвал материю из ладони Маркуса. Когда Маркус выпрямился, Карл шагнул к нему. На какое-то мгновение Маркусу показалось, что брат хочет его обнять. Но вместо этого Карл шлепнул его по губам.

Задохнувшись, Маркус прижал руку к лицу. Лицо его вспыхнуло от стыда и от боли. Он увидел совсем близко холодные черты Карла, синие фарфоровые глаза, устремленные на него.

— Ты существовал, Маркус, — пробормотал Карл, — какое-то мгновение ты существовал. Теперь иди.

Синие глаза закрылись. Маркус, спотыкаясь, вышел из комнаты.

Глава 18

— Забавно, — сказала Элизабет. — Я перестала слышать поезда. Думала, что никогда не привыкну. А ты тоже уже не слышишь?

— Тоже, — сказала Мюриэль.

— Головоломка почти сложена.

— Ты хорошо потрудилась.

— Чем больше ею занимаюсь, тем интересней. Я такая лентяйка. Этот подходит?

— Да, подходит.

— Что же мы будем делать, когда закончим головоломку?

Они сидели на полу в комнате Элизабет, где лампы были включены и шторы задернуты. Золотистые отблески мерцающего огня тонули в коричневатой глубине французского зеркала. Наполовину выкуренная сигара догорала в пепельнице. Элизабет сидела в ленивой позе, одну ногу подвернув под себя, опираясь спиной на шезлонг. Она смотрела на огонь. Волосы в беспорядке спадали ей на плечи. Рубашка беззаботно распахивалась на груди, когда она тянулась за очередным фрагментом головоломки.

— Остались только эти глупые кусочки моря.

— Ты хорошо потрудилась, — произнесла Мюриэль и сразу же подумала: ведь я только что сказала ей об этом.

— Что, опять туман?

— Да.

— Даже здесь, в тепле, я чувствую запах тумана. А снег еще идет?

— Нет.

— Снега много?

— Очень много. Но теперь он не такой красивый.

Мюриэль вошла в комнату Элизабет, не зная, что ее там встретит. Чувствуя дурноту от неизвестности и страха, она с трудом заставила себя подойти к двери. Она ждала если не объяснений, то хотя бы какой-нибудь перемены, потому что в ее нынешнем ужасном состоянии любая перемена казалась благом. С каждой минутой ей становилось все тяжелее. Но не столько то, чему она невольно стала свидетелем, давило на нее. Хотя этот сложный образ оставался в ее сознании непроанализированным и угрожающим, как смертельная болезнь, тихо подкарауливающая своего часа. Больше всего ее мучила неуверенность относительно них. Знают ли они, что она

подглядела? Уверены ли, что она подглядела намеренно? Этот груз сомнений был сравним с тяжестью греха. Ей необходима была сейчас помощь Элизабет, хоть какое-то ее высказывание, которое помогло бы, пусть и не полностью, перенести случившееся назад, в обитаемый мир, и превратить его хоть и в тревожную, но человеческую задачу. Любое движение Элизабет могло стать некой спасительной соломинкой. Но Элизабет была неподвижна.

Войдя, Мюриэль смогла сделать только одно: с поникшей головой молча опустилась на пол. Но Элизабет как будто ничего не замечала. Вела себя как обычно: говорила то, что говорила всегда, немного жаловалась, с трудом перемещалась, возилась с головоломкой. Через какое-то время Мюриэль отважилась поднять голову и с внутренней болью, стиснув зубы, заставила себя включиться в разговор, легкий, ничего не значащий. Она была в замешательстве. Элизабет не могла не слышать ее отчаянные выкрики и должна была понять, для чего Мюриэль оказалась в соседней комнате. А если не поняла, то должна была спросить и уже этим выразить свой интерес. Само ее молчание намекало, что она поняла. Но от такой странной девушки всего

можно ожидать. А может, не поняла и уже забыла о случившемся. Ведь она живет на ином, отличном от обыденного уровне, совсем в другом мире. Может, сознание Элизабет устроено так, что в нем существует провал, поглотивший быстро и милосердно память о тревожном событии. И если допустить, что все в той комнате произошло на самом деле, о чем же думает сейчас кузина?

О Карле Мюриэль вообще не могла судить. В их отношениях с отцом всегда существовала область тьмы, мешающая ей видеть его как следует и выносить какие-либо суждения. Ей казалось, что он никогда по-настоящему не участвовал в обычных человеческих делах. И хотя она считала его странным, самым странным из всех, кого знала, он в то же время оставался столь неотъемлемой частью ее сознания, что она почти недоумевала: как его могут видеть другие люди? Она не могла ни размышлять о нем, ни рассматривать его поступки как следствие его воли. Она не в силах была представить, что и он подчиняется каким-то правилам, принимает решения, рискует. Он был слишком велик для ее мыслей. Он горой возвышался рядом с ними, непроницаемый, неотвратимый. Неправильно было бы сказать, что Мюриэль думала о нем все это время. Скорее,

носила его в себе, заключала в себе, терпела в себе его присутствие.

Ничего не случилось, что ослабило бы или хотя бы смягчило полученный удар. Ее по-прежнему трясло, будто она держала в руках оголенный провод и не могла его отбросить. Что стало с течением часа более очевидным, так это чувство ее собственной вины. Она увидела, узнала — и в этом состоял ее грех. Наблюдала — вот в чем ее преступление. Что-то разрушилось, разбилось. И это сделала она — разрушила, осквернила, запачкала. Она боялась за свой рассудок. Затем с мыслью о вине пришла мысль о прощении, а с мыслью о прощении возник образ Евгения. С удивлением и облегчением Мюриэль поняла — она еще способна думать о Евгении. Он был безгрешен и добр и поэтому оставался сильным и свободным, вне захватившего ее хаоса. Теперь его присутствие становилось еще более значимым — существенным противовесом Карлу, белым против черного. К ней несколько раз возвращалась мысль: пойти и все ему рассказать. В душе она уже разговаривала с ним, и ей становилось легче. Ей вспоминалась шкатулка и слезы благодарности, пролитые перед ней. Она непременно пойдет к Евгению, но не сейчас. Евгений всегда

в доме. А тем временем надо понаблюдать за Элизабет. Может и появится какой-нибудь знак.

— Все еще день?

— Наверное. При этой погоде день от вечера не отличишь.

— Или от утра! Я хочу, чтобы туман рассеялся. Со времени нашего переезда я всего лишь два раза смотрела в окно.

— Туман уйдет. Должен уйти.

— А я сомневаюсь. Климат мог вдруг измениться. Может, тут какая-то связь с бомбой?

— Туман вскоре исчезнет.

— Ты не согласна, что испытания бомбы могут повлиять на погоду?

— Могут, думаю, но не очень сильно.

— А что у нас на ужин?

— Не знаю. Я еще не ходила за покупками.

— Как всегда, будут яйца?

— Наверное, они тебе уже надоели.

— Нет. Вот еще нашла фрагментик. Ты знаешь, я уже так наловчилась.

— В любом деле можно набраться опыта. Дальше пойдет еще легче.

— Когда сложим эту головоломку, купим новую или разбросаем и начнем сначала?

— Нет, мне скучно складывать одно и то же.

— А это не одно и то же. Даже если уже знаешь картинку, все равно надо искать. Хорошо, купим другую, да?

— Конечно. Если хочешь, купим другую.

Мюриэль закрыла глаза и незаметно впилась ногтями в туго натянутую поверхность ковра. Не слезы, а какой-то крик бился внутри нее, метался, как птица. «По силам ли мне такая боль?» — мысленно обратилась к себе Мюриэль, но так ясно, что ей показалось: она произнесла это вслух.

Она открыла глаза и обнаружила какое-то странное выражение на лице Элизабет. Та смотрела не на головоломку, а куда-то мимо, в пол. Вместо напряженной задумчивости на лице ее появилась отрешенность. Какое-то движение в воздухе заставило Мюриэль замереть. Она оглянулась и вскочила на ноги. В дверях стоял Карл.

Обойдя вниманием Элизабет, так и не поднявшую глаз, он вполголоса сказал Мюриэль: «Я хотел бы с тобой поговорить».

Мюриэль не помнила, как оказалась в кабинете Карла. Теперь, очнувшись, она обнаружила, что комната непривычно ярко освещена тремя лампами и большой люстрой. Свет сделал комнату маленькой и невзрачной, открыл, что обставлена она неумело, как бы на скорую руку,

что пол покрыт невероятно затертым ковром. Она расслышала, как отец закрывает дверь и с удивлением поняла, что стоит на ногах, не падает, не кричит.

— Присядь, Мюриэль.

Она села у стола. Карл сел напротив. Она чувствовала на себе его взгляд, но не могла ответить.

— Меня интересует, Мюриэль, нашла ли ты должность?

— Какую должность? — не поднимая глаз, тихо спросила Мюриэль.

— Я подразумеваю, нашла ли ты работу, место секретарши?

— А… Нет, еще не нашла.

Карл говорил так просто, так обыденно. И Мюриэль вдруг подумала: а может, я стала жертвой какого-то невероятного заблуждения? Возможно ли, чтобы отец тоже не слышал крика или каким-то странным образом забыл о нем? Вообще, кричала ли она? Может, ей это послышалось? Может, и все, что она увидела, произошло только в ее воображении?

— Неплохо бы найти работу, верно? Это не так сложно. Ведь ты мне обещала.

Она заставила себя поднять глаза, но задержала

взгляд на его ладонях, аккуратно скрещенных на столе. И тут она увидела на столе, рядом с ладонями Карла, еще что-то. Икону Евгения Пешкова, Троицу, изображенную в виде трех ангелов, картину, в которую она сейчас глянула как в окно, наполненное лазурью и светом. Было что-то чудесное и вместе с тем жуткое в появлении иконы здесь, на столе у Карла. Неужели он настолько всесилен?

— Да, я скоро найду работу, — машинально ответила она.

— Пришло время тебе самой зарабатывать деньги. Ты можешь получать неплохое жалованье.

— В Лондоне — вполне возможно.

— Необязательно в Лондоне.

— Я хочу сказать, что в большом городе легче найти, и раз уж мы здесь…

— Тут я перехожу к следующему пункту, — прервал ее Карл.

Мюриэль насторожилась.

— Так вот, я не хочу, чтобы ты и дальше жила здесь.

— Не понимаю.

— Тебе следует покинуть этот дом и как можно скорее.

Мюриэль пристально посмотрела на отца. В беспощадном ярком свете его лицо казалось каким-то рыхлым, белым и мучнистым. Только глаза сверкали, как влажные синие камешки, и прямые темные волосы блестели, словно смоченные водой.

— Я тебя не понимаю, — сказала Мюриэль.

— Тебе следует покинуть этот дом и как можно скорее.

Карл произнес эту фразу так, будто она не была повторением.

— Неужели ты этого хочешь?

Карл смотрел на нее и молчал. Он слегка пошевелил руками, как бы убеждаясь, что им хорошо и удобно.

— Но зачем?

Кашлянув, он заговорил:

— Тебе известно, что девушка твоего возраста, которая продолжает жить с родителями, явление в наш век не совсем обычное. Ты ведешь не совсем нормальную жизнь. Я думаю, пришло время начать жизнь более естественную. Ты не согласна?

Мюриэль попыталась разглядеть в глазах Карла хоть какое-то движение, хоть какой-то проблеск расчета, но натолкнулась лишь на лоснящуюся

поверхность глазных яблок. Краем глаза она непрестанно видела ровное сияние иконы.

— А как же Элизабет?

— Элизабет останется здесь.

— Но кто же будет за ней ухаживать?

— Я займусь этим.

Мюриэль перевела дыхание и попыталась все обдумать. Этого не может быть, не может! Она всегда готовила себя к худшему со стороны отца, но даже в самых страшных фантазиях представить не могла, что он разлучит ее с Элизабет.

— Не думаю, что Элизабет сможет обойтись без меня, — сказала она и мысленно добавила: прожить без меня, дышать без меня.

— А я не сомневаюсь, что она скоро привыкнет к твоему отсутствию.

Мюриэль искала нужные слова. Ей хотелось стать ловкой, хотелось сопротивляться. Неужели отец может вот так, просто, делать с ней все, что захочет? Она сказала: «Если я уйду, то заберу Элизабет с собой».

Карл усмехнулся. Белые зубы сверкнули на сухом лице.

— С моей точки зрения, это не очень разумно, Мюриэль.

Он говорил об этом, как о чем-то само собой

разумеющемся.

Еще одна догадка посетила Мюриэль.

— Но Элизабет наверняка… Она знает о твоих планах? Она согласна?

— Да. Я говорил с ней, и она согласна.

Мюриэль встала. Отец остался сидеть и только смотрел на нее. Она хотела сказать: «Я тебе не верю», а сказала: «Я тебя ненавижу».

Карл по-прежнему смотрел на нее, но лицо его окаменело и глаза как будто опустели, словно он устал от сосредоточенности, словно был уже один. Мюриэль сделала жест рукой, как бы отмахиваясь от слишком яркого света. Потом вдруг наклонилась вперед, схватила икону и прижала ее к груди. Повернулась и выбежала из комнаты.

— Мюриэль, Мюриэль, постой. У меня к тебе разговор. Ну куда ты летишь?

Мюриэль остановилась посреди зала.

— Лео, мне надо увидеться с твоим отцом.

— Его нет. Вышел за покупками. Ну давай поговорим.

Мюриэль положила икону на столик, изображением вниз. Лео не должен знать, что это. Зазвонил дверной колокольчик. Минутой позже уже было слышно, как Пэтти объясняет Антее Барлоу, что пастор, увы, занят.

Первой мыслью Мюриэль после того, как она покинула комнату отца, было — бежать прямо к Элизабет. Но она тут же остановила себя. Прежде чем видеть кузину, нужно подумать, заручиться, быть может, чьей-то поддержкой. Решение отца выпроводить ее из дому она восприняла сначала без всякого удивления, просто как очередную его прихоть. Ну вот, теперь ему захотелось, чтобы она ушла. Не сразу, не вдруг она поняла, почему он этого хочет. Молчание кузины, ее безмятежность, а больше всего, возможно, ее такие знакомые и привычные маленькие жалобы и тревоги, почти убедили Мюриэль, что Элизабет ничего не знает. Мюриэль сознавала, что это невероятно. Но легче поверить в неведение кузины, чем допустить, что она молчит намеренно, что начал осуществляться какой-то план, что это часть какого-то ужасающего возмездия.

Теперь, когда Карл объявил свое решение, она взглянула на случившееся по-иному. Если Карл не лжет, значит, он и Элизабет должны были предварительно все обсудить. В самом деле, не странно ли предположить, что Карл приказывает ей уйти и при этом не ставит в известность Элизабет? Безусловно, Элизабет могла воспротивиться, если бы захотела. Элизабет и Карл обсуждали ее,

говорили о ней и холодно решили ее судьбу. Значит, конфигурация изменилась… Мюриэль была настолько потрясена, что позабыла задать себе вопрос: что же они собираются дальше делать?

То, что они, может быть, действуют вместе против нее, потрясло Мюриэль даже больше, чем приказ Карла покинуть дом. Теперь она и прошлое увидела в ином свете. Мюриэль задавала себе вопросы, требующие безукоризненно точных ответов. Как долго? На что это было похоже? Как началось? Почему это случилось? Она чувствовала, что не в силах видеть сейчас Элизабет. Все это обернулось бы слезами, криками и стыдом. А вдруг Элизабет останется невозмутимой? Вдруг поведет себя, как Карл? Ведь они так похожи! Как же она раньше этого не замечала?

Икону она схватила автоматически, инстинктивно, но теперь икона стала для нее знамением. Совершив свой загадочный путь, икона вернулась, чтобы привести ее к Евгению. Отдать ему икону — единственный значительный поступок, который она еще может совершить. Она представила, как возвращает икону, как плачет затем неудержимыми слезами, и наконец ощутила, почувствовала всем телом, до чего ей плохо.

— Мюриэль, что с тобой? Я к тебе обращаюсь, а

ты не слышишь.

— Так ты сказал, отца сейчас нет?

— Он ушел в магазин. Скоро вернется. Поговорим здесь? А может, поднимемся в твою комнату?

Мюриэль повернулась и пошла вверх по ступенькам. Она вошла в комнату, включила свет и чуть не захлопнула дверь перед самым носом Лео. В комнате стоял ледяной холод. Поскольку Мюриэль большую часть времени проводила у Элизабет, камин здесь растапливали редко. Мюриэль села на кровать и закрыла лицо руками.

— Что с тобой, Мюриэль?

— Ничего. Что ты хотел сказать?

— Э, две вещи. Первое: признаюсь тебе, что я попал в чертовски трудное положение. Ну, как бы это сказать… старина Маркус… может, ты уже знаешь, что именно Маркус должен был выкупить эту проклятую икону? Хорошо, в сторону икону. Я сказал Маркусу, что собираюсь жениться. И тут он видит, как мы с тобой валяемся на полу. Но это меньше всего меня волнует. Однако я чувствую вину перед стариком. Я к нему, старому дуралею, очень нежно отношусь, честное слово. Но и на поводке вечно ходить не хочу. Ужасное дело. Помнишь, я говорил, что передал

ему 75 фунтов? Так вот, я решил, что этого мало, что мне следует отдать всю сумму, чтобы он не выкладывал из своего кошелька. И знаешь, что я сделал? Занял двести двадцать пять фунтов. У той немолодой дамы, о которой я тебе рассказывал. Так что я снова в долгах, как в шелках. Ну, что ты на это скажешь?

Мюриэль рассеянно слушала Лео. Вот-вот появится Евгений, обнимет ее, вернет ей мысли и чувства.

— Все это пустяки, — равнодушно произнесла она.

— Что? Это не пустяки. Это позорно. Разве ты не собираешься выругать меня? Я же мерзавец.

— Ну почему я должна тебе верить? Ты нагородил столько лжи, что мне просто скучно.

— Мюриэль, я не лгу сейчас, клянусь.

— Ну хорошо, что ты хотел еще сказать? Я тороплюсь, так что говори.

— Ладно. Не будем об этом. Мне надо было тебе сказать… Я люблю тебя.

— Что?

— Я люблю тебя.

— Не кричи.

Мюриэль подошла к окну. Проходя по комнате, она заметила через полуоткрытую дверцу буфета

маленькую голубую бутылочку с таблетками. Она чуть раздвинула шторы. Оконное стекло покрыл изнутри тонкий слой льда, а за окном была тьма. Дрожь прошла по ее телу. Ей страстно захотелось к Евгению, туда, где можно быть слабой. Она со стоном прижалась к стеклу. Колкие морозные крошки впились ей в лоб.

— Вижу, ты не очень обрадовалась, — сказал Лео. — Но тут я не виноват. Ты втянула меня в историю с этой девушкой. И потом вся эта неразбериха… и Маркус как с неба свалился. Кстати, что ты увидела через щель в стене? Мне не дала посмотреть.

— Я говорила. Она была голая. То есть не совсем голая. На ней был ортопедический корсет.

— Как ты сказала?

— У нее болит спина, и она должна носить такую металлическую конструкцию, чтобы тело находилось в правильном положении.

— Так что ж ты мне раньше не сказала?

— Боялась, что тебе не понравится.

— Мне не нравится. Но я ведь не влюблен в нее, правда? Я мог бы увлечься тобой.

— И знаешь, я тебя обманула. Извини. Она не такая уж и красивая.

— Странно, Мюриэль. Девушки обычно бегают

за парнями, а ты хотела свести меня с другой. Но как бы там ни было, я перед тобой. Что ты будешь со мной делать?

Мюриэль с трудом повернула голову. Лоб как будто примерз к стеклу. Она отошла от окна. Ледяные капли скатились ей на глаза. Она вытерла лицо и взглянула на Лео. Он сидел, подняв воротник пальто, засунув руки в карманы. Нос у него покраснел от холода. Маленькая пушистая головка торчала из пальто, как у зверька, высовывающегося из норки. Ноги в узких потертых джинсах казались тонкими и слабыми. «Какой же он жалкий», — подумала Мюриэль.

— Вовсе ты меня не любишь, Лео. Не будем об этом.

— Ты не поняла, — низким голосом неторопливо произнес Лео. — Это серьезно.

Ну что за нелепость, подумала она. Не нужно, не интересно. Она сказала:

— Жаль, но я не могу тебя полюбить. У меня свои заботы. Ты слишком юный. И потом я… люблю другого.

Правда ли это? Стоило произнести — и стало правдой.

— Я тебе не верю, — сказал Лео.

— Мне надо идти. Забудем этот разговор, — она

направилась мимо него к двери.

— Погоди, моя девочка. Ведь это твоя вина. Значит, и тебе придется немного пострадать.

— Будь добр, дай пройти.

— Может, ты плохо понимаешь по-английски? Я же сказал тебе — я влюблен. Это как болезнь, Мюриэль, разве ты не знаешь? Ну, послушай, как бьется мое сердце. Думаешь, я разрешу тебе вот так просто уйти от меня?

— Лео, пожалуйста, есть что-то очень важное…

— Подождет. Я люблю тебя, Мюриэль. И тебе придется покориться. И полюбить меня. Мне нужна особенная девушка. Такая, как ты, — и он с силой сжал ей руку.

— Отпусти, мне больно.

— Тем лучше. Сейчас ты сядешь, и я объясню тебе, какая ты необычная и прекрасная.

Лео толкнул Мюриэль так, что ей пришлось опуститься на кровать. Он наклонился и рукой обхватил ее под коленями. Она почувствовала холод его ладоней на своих ногах повыше чулок. Она начала бороться, но другой рукой он надавил ей на плечо и заставил неуклюже привалиться к стенке.

— Непослушная, непослушная, брыкается. А не хочешь выслушать и еще кое-что любопытное?

Ты — девственница. Я знаю. Мужчины всегда знают. Так что… Ну, поцелуй меня. В последний раз у тебя неплохо получалось…

Его лицо оказалось совсем близко.

От бессилия и отвращения Мюриэль хотелось кричать. Отвернув голову, она замерла в его руках. Мука ее достигла предела. Тихо и отчетливо она проговорила: «Не трогай меня. Я люблю твоего отца».

Мюриэль вышла из комнаты и сразу подумала об иконе. Ведь она оставила ее там, на столике, в зале. В порыве охватившего ее вдохновения она побежала вниз. Взять икону — и к Евгению. Как он обрадуется, как будет благодарен! В нем ее спасение. С возвращением иконы их души откроются навстречу друг другу. На этот раз плакать от счастья будет она, и в этих слезах мир родится заново. Прикоснуться к Евгению и в нескольких словах объяснить, что с ней происходит, — и *те* уже будут не властны над ней.

Мюриэль замерла посреди зала. Иконы не было. Она подошла к столику. Тут ли она ее оставила? Да, несомненно. Страх лизнул ее подобно пламени. Икона пропала. Еще на что-то надеясь, она осмотрела пол, заглянула под стулья. Исчезла, пропала! Опять украдена! И это ее вина. Надо

было держать при себе, не выпускать из рук ни на секунду. Она посмотрела на входную дверь. Заперта. Может, отец спустился и унес ее в кабинет?

— Что вы ищете?

Темное лицо Пэтти вынырнуло из-под лестницы. Видно было, что дверь в кухню открыта.

Мюриэль медленно прошла мимо нее в кухню.

— Я оставила на столе одну вещь, — глухо сказала она.

— А, эту картину? Икону Евгения? Так я ее нашла и отдала ему.

— Ты отдала ему?

— Да, а как же. Что, по-вашему, я должна была делать?

— Но она моя! — это был уже не голос, а вопль. Пальцы царапали воздух. — Я нашла ее! Я собиралась вернуть ему. Тебе следовало оставить там, где увидела. Это не твое дело. Я должна была вернуть!

— Ну, что теперь поделаешь, — Пэтти повернулась к Мюриэль спиной и принялась помешивать суп, дымящийся в кастрюле на плите.

— Ты знала, что она моя!

— Ничего такого я не знала, — ответила Пэтти. — Все равно ведь она не ваша. Я просто нашла

ее здесь. Не следовало вам вот так ее бросать. Ее могли снова украсть.

— Нет, ты намеренно. Я нашла ее, я хотела вернуть. Ты намеренно…

— Ох, не будьте ребенком. Какая разница, кто вернул? Главное, она вернулась, — Пэтти продолжала помешивать суп. — Знали бы вы, как он обрадовался.

У Мюриэль началась истерика. Вопль вырвался, казалось, не из гортани, а прямо из самого сердца.

— Не надо так шуметь, — сказала Пэтти. — Кто-нибудь услышит.

— Слушай меня, черт побери!

— А ну, уходи из моей кухни, — уперев руки в бока, приказала Пэтти.

— Это не твоя кухня. Ты просто служанка и не забывайся.

— Ах ты, маленькое отродье. Вон отсюда, не то схлопочешь.

Мюриэль стала надвигаться на Пэтти. Та попятилась.

— Ты не посмеешь меня тронуть, Пэтти О'Дрисколл. Я разорву тебя на куски.

— Закрой рот, гнусная невоспитанная мартышка! Вон из кухни, говорю тебе!

— Ты убила мою мать! Ты убила мою мать, черная сука!

Пэтти перестала пятиться и оскалилась в усмешке.

— А ты помешала своему отцу жениться на мне! — крикнула она. — Ты погубила меня, погубила всю мою жизнь. Ненавижу тебя. Я всегда тебя ненавидела.

Мюриэль толкнула тяжелую кастрюлю. Пэтти пронзительно закричала. Суп пролился на пол, кипящие капли брызнули ей на ноги и на передник. Пэтти продолжала кричать. Мюриэль ногой пнула кастрюлю.

В кухню вошел Карл. Следом за ним Евгений. Вопли Пэтти перешли в рыдание. Карл включился в действие: «Чем раньше, Мюриэль, ты покинешь этот дом, тем будет лучше. Подумай. Успокойся, Пэтти. Мисс Мюриэль уходит от нас. И мы должны быть к ней добры в это оставшееся время. Ну, ну, Патюшечка, ты ведь не пострадала, нет?»

Карл обнял рыдающую Пэтти.

Пройдя мимо Евгения, Мюриэль вышла из кухни.

Глава 19

Маркус Фишер пребывал в настроении, близком к восторгу. Ему уютно сиделось в гостиной Шедокс-Браун перед гудящим камином. Шторы были задернуты, скрывая хмурый серый полдень. Под мягким светом лампы на скатерти из ирландского полотна золотились россыпи крошек от бисквитного торта. Маркус допил чай и поставил пустую чашку прямо на тарелку, измазанную клюквенным джемом, хотя Нора много раз просила его так не делать. Он сказал:

— Важна именно эта его серьезность, его страсть.

Нора вернула чашку на чайное блюдце.

— То, что вы мне рассказали, нисколько не убеждает меня в его серьезности. Он или сумасшедший, или развлекается за ваш счет.

— О, вы не понимаете, — сказал Маркус и чихнул.

— Ну вот, говорила же я, что у вас начинается простуда.

— Вы ошибаетесь.

Маркус приложил все силы, чтобы передать

Норе впечатление — он льстил себя надеждой, что это мистическое впечатление — от встречи с Карлом. Пересказывая речь Карла он несколько изменил сцену — представил ее как здравый диалог между двумя братьями, в котором ему была отведена своя партия. Несправедливо было бы упрекнуть Маркуса в абсолютной лжи. Ведь пока Карл говорил, он действительно *думал*, как ответить, во всяком случае после того, как все закончилось, точно думал. А о том, что Карл его ударил, он умолчал решительно. Этот удар был чем-то чрезвычайно личным. Нора не поняла бы его смысла, истолковала бы упрощенно, как еще одно доказательство неуравновешенности Карла. А между тем удар этот должен был привести к просветлению. Более того, это был знак любви. Брат подарил ему жизнь, заставил ожить в тот миг, когда они оказались лицом к лицу. Любовь — вот имя этой близости.

Он не мог не согласиться, что чувство, его охватившее, не что иное, как влюбленность. Его так ошеломило красноречие Карла и так потряс этот удар, что он не сразу понял, что произошло. Но потом, на улице, в пронизывающем вечернем холоде, все его естество как будто изменилось. Он чувствовал сияние, словно сам излучал тепло и

свет. Ему было хорошо, даже слишком хорошо. Глаза его сияли, губы сами собой расползались в глуповатой улыбке. Он не сразу осознал, что с ним, но потом ощутил, что это как-то связано с ударом. И только затем величественный образ Карла вырос перед ним и уже не отпускал его воображение.

Оказавшись у себя, в Эрл Коурт, он понял — все его тревоги рассеялись. Он обследовал комнату, как электрик, ищущий неполадки. Комната изменилась. Раньше ее как будто наполняла какая-то зловещая паутина, а теперь она исчезла. То, что затемняло свет, пряталось в углу, угрожало, — ушло. Маркус наполнил комнату радостью своего нового естества. Маркус и комната плыли над Лондоном, как веселый воздушный шар. Маркус стоял посреди комнаты и смеялся.

Значит, он не ошибся, надеясь, что искренний разговор с Карлом поможет кошмарам убраться прочь! Утихла даже его тревога об Элизабет. Бедная, невинная Элизабет, как бы она огорчилась, а может, наоборот, рассмеялась, если бы узнала, в какое грозное маленькое божество превратило ее воображение Маркуса! Его собственная слабость раздула этот образ, теперь вновь ставший соразмерным. Можно опять с разумной симпатией и

нежностью думать и о ребенке, которого он когда-то знал, и о больной девушке, которую вскоре встретит. В обыкновенной череде совпадений ему привиделся заговор. Ну, действительно, почему Элизабет обязана соглашаться на встречу с ним в избранное им время? Она нездорова, и, значит, ему следует быть более тактичным к ней. Конечно, своим таинственным затворничеством Карл отнюдь не облегчает течение дел. Но у Карла, несомненно, тяжелый характер, да он и всегда был таким. Маркус лег спать, и ему приснился ласковый сон о ком-то добром. Этот кто-то был наполовину Карл, наполовину его младший брат Джулиан, столь обожаемый им когда-то в юности.

От этого нового озарения даже его отношения с Лео изменились в лучшую сторону. Маркус чувствовал, что в глубине его души зарождается тревога по поводу Лео. Но беспокоило его не то, что он, быть может, слишком эмоционально относится к Лео. Ведь он довольно часто проникался небольшой симпатией к тому или иному своему ученику, но всегда без труда справлялся со своими чувствами. Нет, совсем иное его беспокоило, а именно то, что Лео явно знает о его слабости. Маркусу не давало покоя подозрение,

что Лео не только эксплуатирует его, но и делает это насмешливо, с холодным сердцем. Маркус очень тревожился, особенно после их последней встречи, как же он выглядит в глазах Лео. До некоторой степени он был готов к тому, чтобы его эксплуатировали, до некоторой степени даже хотел этого. На то и учитель, чтобы служить ученикам. Но Маркус боялся, что его достоинство под угрозой, а достоинство для него было вещью драгоценной. И еще он боялся всевозрастающего влечения к этому мальчику, усилившегося после недавних событий. Да, Маркус начал мечтать о дружбе с Лео, хотя и понимал всю бесполезность этих мечтаний.

И все же день спустя — после той приснопамятной встречи с Карлом — у него состоялся чрезвычайно ободряющий разговор с Лео. Лео позвонил в Эрл Коурт, а потом зашел. Он принес, к большому удивлению Маркуса, триста фунтов, стоимость иконы, и положил деньги на стол. Маркус спросил, откуда деньги. И тут Лео признался, что тогда солгал, то есть история его обручения с девушкой, отец которой потребовал 75 фунтов, совершеннейшая выдумка. На самом деле было так: он купил очень дорогой мотоцикл, за который частично заплатил, но требовалось заплатить

остаток. И тогда в отчаянии он продал икону, но утаил это от Маркуса, потому что боялся — вдруг Маркус будет настаивать на продаже мотоцикла. Стараясь быть суровым, Маркус подтвердил, что действительно настаивал бы. Ну вот, терзаемый муками совести, он продает мотоцикл по приемлемой цене и отправляется на Уайт Сити[20], где как раз проходят собачьи бега. Делает ставку — и удача улыбается ему. И вот теперь, с величайшим облегчением, он отдает триста фунтов. А также передает горячую благодарность от отца за ту доброту, которую Маркус проявил к ним обоим.

Маркус не выдал свою радость по поводу того, что Лео не удалось обмануть его. Теперь, когда юноша признался, между ними будет царить куда большая искренность. Маркус прочел Лео суровую лекцию о важности правдивости и в нескольких словах описал опасность увлечения азартными играми. Потом кратко коснулся будущего и настоятельно посоветовал Лео оставить технический колледж и вернуться к прежним планам — обучению в университете на отделении французского и русского. Если Лео согласится, то эти триста фунтов, которые он так благородно

---

[20] Примечания: 20
Уайт Сити — стадион в Лондоне.

вернул, могут стать фондом и как-то помочь ему в его образовании. Лео выслушал серьезно, поблагодарил и сказал, что все обдумает. Они расстались, с теплотой пожав друг другу руки, и Маркус в душе сказал себе: а ведь я ошибался, думая, что он не расположен ко мне. Он очень хорошо ко мне относится. Теперь, когда мальчик повзрослел, почему бы нам не стать друзьями?

— Кажется, вы очень довольны собой? — заметила Нора. — Хотите еще чаю?

— Нет, благодарю.

— Насколько я могу судить из вашего сумбурного рассказа, Карл заявил, что не только нет Бога и человеческая жизнь лишена смысла, но и сомнительное царство морали, само по себе, конечно, являющееся иллюзией, теперь близится к концу. И впредь человечеству суждено быть жертвой безответственных психологических сил, которые ваш брат живописно назвал ангелами. И от этих страшноватых, на мой взгляд, прогнозов вы, кажется, на седьмом небе. Любопытно узнать, почему?

— Вы не понимаете, — покачал головой Маркус. — Отчасти Карл сказал правду, а правда всегда чуть пьянит, даже если ужасна. Кант понимал это. В словах Карла есть надежда, мучи-

тельная, но надежда. Он сам это чувствует, хотя и отрицает.

— Что правда всегда пьянит, кажется мне романтическим нонсенсом, и я удивлена, что вы приписываете подобное убеждение Канту. Если я завтра узнаю, что больна раком, то вряд ли этой правде обрадуюсь. Но вы говорили о какой-то надежде. Так уточните свою мысль.

— Полагаю, что две эти идеи на самом деле составляют одно целое. Пусть все плохо, но вопреки этому, а возможно, именно поэтому… то есть, я хочу сказать, что человеческая душа способна на отклик.

— Когда как. Сигарету?

— Благодарю. Да, Карл прав, говоря об абсурдном оптимизме всей предыдущей философии, и не менее прав, когда утверждает, что люди только делают вид, что отвергли идею Бога. Надо учиться жить без представления о Благе как о чем-то Едином. Это нелегко.

— Ну, вы знаток философии, а я нет, — сказала Нора, — но я не вижу смысла ни в отрицании, ни в утверждении, что Благо едино. Я просто должна платить по счетам. Обыденная мораль существует и всегда будет существовать, что бы там теологи и философы ни говорили.

— Удивительно, — произнес Маркус. — Удивительно. Для вас здравый смысл занял место веры. В некотором смысле я вам завидую.

— Нет, вы не завидуете. Вы чувствуете превосходство надо мной. Но, слава Богу, я принадлежу к большинству.

— В конечном счете, большинство живет за счет великого меньшинства.

— В конечном счете, большинство решает, кто велик, а кто нет. Если у какого-то Карла расстроены нервы, то ко мне это не имеет никакого отношения. Я сказала бы так, даже если бы он был гением. А он всего-навсего несчастный сумасшедший, нуждающийся в лечении электрошоком.

Маркус спросил себя: действительно ли Карл сумасшедший? Пусть даже так, но истина все равно может быть ему открыта. Какая страсть!

Маркус понял, что и краем глаза ему не дано видеть тот духовный океан, на котором его брат, кажется, потерпел кораблекрушение. Он не мог разделить с Норой твердую уверенность в незыблемости здравого смысла. Или, точнее, как она верно заметила, не хотел разделить.

— Повлияла ли эта беседа с Карлом на вашу книгу?

— Да.

После разговора с Карлом, после того, как он всей душой постиг его существование, ему стало ясно: книге ни к чему рождаться. Она была замешена, как выразился Карл, на водянистой теологии. Конечно, можно начать заново, правдиво, с подлинной страстью. Но ни к чему это. Его версия онтологического доказательства нежизнеспособна.

— Ангелы выходят на сцену, — произнес он.

— Как бы и вам не свихнуться, — сказала Нора.

Маркус вспомнил слова Норы о сумерках гибнущей мифологии, сводящих людей с ума. Но если твердо держаться курса, выход должен явиться. Или это «должен» просто дань старинному заблуждению, неуклонно возвращающемуся? Бог устранен, и не приведет ли это к тому, что стало, наконец, возможно реальное добро, не преследующее никакой цели, кроме самого себя? А может, Карл прав, этот идеал столь далек, что мы даже имени его не знаем? Есть ли какой-нибудь ответ Карлу? Есть ли что-нибудь реальное и в то же время благое?

— Так собираетесь ли вы что-нибудь делать с Карлом? — Нора теперь то и дело задавала этот вопрос.

— Спасать его, — глубоко вздохнул Маркус.

— Спасать? Как? Молитвой?

— Любовью.

Теперь он понял — это и есть ответ. Его главная книга должна быть не о благе, а о любви. Если взять темой «любовь», онтологическое доказательство заработает, потому что любовь — это реальная человеческая деятельность. Он спасет брата, любя его. Карл должен постичь реальность любви.

— Как, по-вашему, любовь едина? — обратился он к Норе.

— У вас, Маркус, определенно в голове мутится, — сказала Нора. — Ну вот, собираетесь уже, а ведь у вас страшнейший насморк.

Глава 20

Евгений Пешков проснулся, зажег фонарик и посмотрел на часы. Можно еще поспать. Он повернулся и медленно поплыл по туманной реке пространства и времени. Ярко светит солнце над огромной поляной, поросшей высокой травой. Зеленое море, все в огоньках цветов, мягко волнуется под теплым ветром. Посреди травы белеет одинокая береза. Маленькая белая собачка все лает и лает.

Дама в полосатом платье выходит из золотого марева на свет. Полоски на платье узенькие, белые и зеленые, а подол испачкан от соприкосновения с пыльным полом веранды. «Dickory, dickory dock, the mouse run up the clock!»[21] Евгений смеется и пытается поднять подол. Он и есть мышонок, который заводит часы. Он берется за край юбки и чуть приподнимает ее. Под ней другая юбка, из серого шелка с густой бахромой. Он поднимает бахрому. Ниже еще одна юбка, из кремового кружева. Он протягивает руки, чтобы поднять и ее. Но дальше еще одна, белоснежная,

---

[21] Примечания: 21
Дикори, дикори, ди, мышонок, часы заводи! *(англ.)*

а под ней еще одна. Он с плачем пробивается дальше. Он почти задыхается, но тканям нет, кажется, ни конца, ни края. Одежда, как цепкие густые заросли, одурманивающие запахом старых духов. Он запутывается, не может бежать. Нечем дышать. Одежды душат его. Он ловит воздух открытым ртом и видит мать, рыдающую в какой-то комнате в Праге. Она в чем-то сером, легком, длинный шлейф наполняет комнату, как клубы дыма. Беленькая собачонка лает и лает.

Евгений очнулся и понял, что лежит, уткнувшись лицом в подушку. Он попытался поймать улетающий сон. Мельком увидел освещенную солнцем поляну и веранду их загородного дома под Петербургом. На этом оборвалось. Исчезло из памяти даже то, что он секунду назад помнил. Он знал: этот сон касается его английской гувернантки, мисс Алисон, но что случилось во сне, он вспомнить не мог. Мисс Алисон всегда была рядом. Суровая, медлительная, она восклицала укоряюще, если случался непорядок — собачка уж слишком разбегается, или ребенок расшалится. Он говорил с мисс Алисон по-английски с самого младенчества. Она обучала его английским детским стишкам. Она напевала их высоким тонким голосом, отбивая ритм пальцем. И благодаря ей

он узнал, что такое страх и недоумение, *когда* однажды, войдя к ней в комнату, обнаружил ее безутешно рыдающей. Он тогда впервые увидел, как взрослые плачут. Ведь раньше ему казалось, что взрослые не умеют плакать, тем более так горько. И он тоже заплакал, громко, испуганно. Если взрослые так рыдают, значит, в мире нет безопасности. Но почему мисс Алисон плакала? В то время он совсем не мог понять. Может, она плакала от тоски и одиночества, маленькая англичаночка в грубом чужом мире, который едва замечал ее? Она немного говорила по-французски и так и не выучила русский. Когда они бежали в Ригу, она сопровождала их; а потом поплыла кораблем в Англию. Может, она еще жива? Сколько же ей тогда было лет? Могло быть и двадцать, и тридцать, и сорок. Скорее всего, уже умерла.

Евгений встал и зажег свет. Опять проспал. Зимой трудно не проспать. Он быстро оделся. Взгляд его упал на шкатулку, стоящую на столе. Сон чем-то был связан с этой шкатулкой, чем-то до слез печальным, чем-то, что он никак не мог вспомнить. Затем он посмотрел на икону и улыбнулся. Он увидел ясно, как на небольшой овальной картине, спальню своей матери в Петербурге и в ней икону. Икона тогда была в тяжелой, украшенной

золотыми уголками черной деревянной раме. На нижней планке находилось особое приспособление для лампады, но мать, набожность которой отступала перед заботой о objets d'art[22], особенно о такой семейной драгоценности, боялась, что испарения испортят икону, и поэтому лампаду никогда не зажигала. Икона привела за собой образ матери — мягкий, размытый… роскошные светлые волосы собраны венцом на голове, какая-то тонкая одежда, может, рубашка, неслышно опадает на пол и стелется вокруг ее ног.

Пэтти появилась перед ним с иконой в руках — и он окончательно поверил в удачу. Пэтти заставила его поверить в счастье. Он понимал, как опасна такая доверчивость и как непривычна для него. Но он знал также, что благодать счастья дается тем, кто в него верит. А он давно жил как придется и на лучшее не надеялся. Казалось, все отпущенное ему счастье он получил перед тем, как ему исполнилось шесть лет. Но теперь ему уже хотелось счастливого будущего. Пэтти, он видел, тоже этого хотела. Он чувствовал, что в ней самой это стремление пробудилось впервые. Если из-за тебя кто-то вдруг начинает мечтать

---

[22] Примечания: 22
Предмет искусства *(франц.).*

о счастье, значит, на тебя ложится невероятная ответственность. Евгений очень беспокоился, но это было какое-то светлое беспокойство. Он все больше убеждался — они с Пэтти должны пожениться.

Пэтти вела себя неопределенно. Ею владела какая-то нерешительность, и, по ее словам, ей необходимо было время. «Нет», — говорила она, но черные, с красноватыми проблесками глаза говорили: да, да, да. Ее невольные прикосновения успокаивали боль, причиняемую ее словами. Евгений верил ее глазам и рукам. Они все больше покорялись преображающей силе любви. Ничего особенного еще не было сказано, но Евгений чувствовал: Пэтти день ото дня становится все ближе. И чем больше она доверяла ему, тем легче ему становилось. С каждым днем она пробуждала в нем все большую нежность.

Он видел, иногда что-то тревожит ее, не дает покоя. И тогда, думая, что ей от этого станет легче, он принимался расспрашивать ее, но она замыкалась в себе. Он начал размышлять о ее жизни. Пэтти постоянно говорила ему, что у нее нет истории, но разве это возможно? Пытаясь представить самое худшее, он воображал, что когда-то в юности она могла родить внебрачно-

го ребенка. А может, она все еще не верит, что ему безразличен цвет ее кожи? Какова бы ни была преграда, он должен знать о ней, чтобы преодолеть силой своей любви. Тем не менее, это легкое уныние делало Пэтти в его глазах еще более привлекательной. Он умилялся ее робости, ее сомнениям. Он не просто был уверен в ее невинности, а видел эту невинность. Она была первозданной, неоткрытой Америкой, благословенным черным континентом.

Радостное ожидание помогало ему относиться к ней с неостывающей любовной теплотой. Любовь превратила его в художника. Он покупал маленькие подарки, изобретал угощения. Доставлять кому-то радость — как давно он не делал этого! Жил кое-как в своей скорлупе, утешаясь, что так и надо. Лео прав, ему следует найти место в английском обществе. Хватит постепенное отмирание души называть духовностью. Если он попытается, то еще сможет жить обыкновенной жизнью. Они с Пэтти смогут.

Счастье переполняло ее, и хотя иногда она как бы отмахивалась от него, ощущение счастья не уходило, а, наоборот, усиливалось. Она теперь часто напевала. Ей было легко с Евгением. Он надеялся, что ему по силам сдерживать в себе эту

бушующую страсть, а так хотелось сжать Пэтти в объятиях, дать ей шлепка, усадить на колени. Их ласки все еще оставались на уровне влюбленных детей. Лишь изредка он со всей своей страстью целовал ее или по-медвежьи прижимал к себе.

Годы одиночества придали его чувствам качество, которое он не сразу мог определить. Чистота? Нет, скорее, новизна. Он влюбился словно впервые, как мальчишка. Ведь в несчастную Таню он никогда не был по-настоящему влюблен. Он любил тех, из детства, и, казалось, больше никого не мог полюбить.

— Прошлой ночью мне приснилась моя английская гувернантка. Ее звали мисс Алисон.

— Ты ее любил?

— О, да. Я всех любил. Детям это свойственно.

— Кому как.

— А тебе минувшей ночью что приснилось, Пэтти?

— Мне не снятся сны. Что же случилось в твоем сне?

— Не помню. Мне кажется, это был наш загородный дом.

— Как он назывался? Ты мне говорил.

— Белая долина. Потому что там росли березы. У них ведь белые стволы.

— Глупенький, я знаю, что у берез белые стволы. В Англии есть березы.

— Есть? А, в самом деле. Правда, я никогда не видел. О, Пэтти, ты уже уходишь?

— Надо, а то не успею за покупками.

— А сахарную мышь возьмешь с собой?

— Она у меня в кармане. Как ты думаешь, надеть мне новые сапожки?

— Конечно, надень. Ты в них похожа на русскую.

— Немного тесноваты. Вдруг начнут жать посреди дороги?

— А вдруг не начнут? Надевай и храбро иди вперед.

— Я скоро вернусь.

— Аккуратно переходи дорогу. Купи мне что-нибудь этакое.

— Помоги мне надеть сапожки.

Пэтти и Евгений вышли в кухню. Настроение у Пэтти было лучше, чем всегда, и они много смеялись.

— Позвольте, я помогу вам надеть. Присядьте вот здесь.

Евгений опустился на колени и снял с Пэтти ее поношенные клетчатые тапочки. На секунду он задержал ее теплую пухлую ступню в своих

руках. Ему показалось, что он держит какую-то птицу. Он подержал сапожок, и она засунула ногу. Сапожки, на покупку которых Евгений ее воодушевил и которые они долго обсуждали, были из черной кожи, высотой почти до колена, на шерстяной подкладке. У Пэтти прежде никогда таких не было.

— Тесноваты. Я же говорила.

— Но ты всегда жалуешься, что обувь великовата.

— Нет, сначала тесновата. Только потом становится великовата.

— Ну, надевай.

— Не получается.

— Просто сапожки для тебя в новинку. Ничего, наловчишься. Суй ногу.

Евгений почувствовал, как пятка надежно уперлась в положенное ей место.

— Отлично. Теперь следующий.

Толкая и подтягивая, Пэтти надела второй сапог.

— Теперь шубку. Ну вот, совсем русская.

В шубке из кролика, с шарфом на голове, Пэтти выглядела шарообразно, как те добродушные пухлые бабоньки, спешащие тебе навстречу морозным утром по Невскому проспекту. Евгений

рассмеялся, прижал ее к себе и раскружил. И тут он увидел Мюриэль Фишер. Она стояла в дверях кухни и угрюмо смотрела на них.

Евгений опустил руки. Пэтти оглянулась и тоже увидела Мюриэль. Пэтти помедлила, а потом решительно направилась к двери. Мюриэль посторонилась. Невнятно поздоровавшись с Мюриэль, Евгений поспешил за Пэтти. Она уже успела открыть входную дверь. Волна студеного воздуха проникла внутрь, разбившись об их лица и руки. Туман почти рассеялся, но все равно было мрачно.

— Холодно, Пэтти. Давай закроем дверь.

— Выйди на минуту, — сказала Пэтти.

Дрожа от холода, Евгений вышел на крыльцо, и Пэтти слегка прикрыла дверь. С покрасневшими от стужи лицами они вглядывались друг в друга, и холодный сумрачный свет окутывал их. Лица их, как два цветка, увяли и закрылись.

— Что случилось, Пэтти? Я сейчас заледенею.

— Я хочу сказать… нет, это не имеет значения.

— Скажешь, когда вернешься.

— Я вернусь, правда?

— Что за глупости. Конечно, вернешься.

— И ты будешь меня ждать, да?

— Буду.

— И ты всегда будешь ждать, Евгений, всегда?

— Всегда! Ну, Пэтти, будь осторожна. Не упади в новых сапожках.

Пэтти исчезла в холодном тумане утра, осторожно ступая по тротуару, покрытому смерзшимся в комки снегом. Евгений поспешил в зал, где было все же теплее, чем на улице. Может, ему следовало пойти с ней? Ожидавшие его разные мелкие дела могли и подождать. Как хорошо она сказала! «Всегда» — это он впервые от нее услышал.

Он с улыбкой прошел через кухню и отворил дверь в свою комнату. Мюриэль Фишер сидела у стола. При виде его она встала.

— Мисс Мюриэль…

— Извините, — тихо проговорила Мюриэль. — Я хочу вам кое-что сказать.

Евгений всмотрелся в ее лицо. В нем было что-то странное. Лицо сначала сморщилось, потом вытянулось, словно подвешенное на крюк. Лицо Мюриэль всегда казалось Евгению каким-то отталкивающим. Но теперь она напоминала демона в муках. Ему стало не по себе.

Евгению никогда не нравилась Мюриэль. Она казалась ему неженственной и холодной. Он ставил ее в один ряд с Шедокс-Браун — бес-

церемонная английская дама, которая как бы и стремится помогать, но при этом не может скрыть своего высокомерия. Этим дамам присуща самоуверенность, которой позавидует любой супермен. Евгений всегда чувствовал, как настроено к нему общество, и мог безошибочно определить, считают ли его равным себе или все же хоть на каплю, но презирают. Мюриэль тщательно выспрашивала его о прошлом, но в ее вопросах не было сочувствия, даже любопытства. Он чувствовал, Мюриэль просто хочет найти для него наиболее подходящую «полочку». Чтобы знать, что с ним делать, надо его как можно точнее классифицировать.

Она подарила ему шкатулку, но это был очень горький подарок. Он простил шкатулку, но не Мюриэль. Она вторглась куда не следует, ущемила его достоинство, во всяком случае, доставила неприятности; это было вторжение в сферу личную, в тайну, которая ее не касалась. От ее неловкого прикосновения вернулась из прошлого боль, заставшая его врасплох, и от этого вдвойне унизительная. Он негодовал, что она подглядела его слезы, что она бесцеремонно прогнала Лео, словно имела власть над сыном, ту власть, которую потерял он, отец. Она — враг Пэт-

ти. Евгений давно это понял. А после безобразной сцены с кастрюлей супа он начал считать ее не только отвратительной, но и опасной.

Евгений взял себя в руки. Наверняка мисс пришла пожаловаться на какой-то проступок Лео.

— Будьте добры, закройте дверь, — сказала Мюриэль.

— Что случилось, мисс Мюриэль?

Мюриэль опять села. Она смотрела на него, уныло скривив рот. Узкие глаза поблескивали на лице, которое все больше походило на маску.

— Я полагаю… какие-то неприятности… наверняка, Лео… — с тревогой проговорил Евгений.

— Мне нужна ваша помощь, — глухо произнесла Мюриэль. Ей трудно было говорить.

— Простите, но я не понимаю.

Как будто справляясь с удушьем, Мюриэль сжала в ладони край скатерти, наклонила голову и на миг зажмурила глаза.

— Это я нашла вашу икону.

— Как вы сказали?

— Это я нашла икону и принесла ее. Пэтти просто заметила ее в зале. Это я должна была отдать икону.

— Значит, икона была у вас? Вы взяли ее… Я не понимаю.

— Это слишком сложно. Говорю вам, я нашла ее. Я как раз собиралась отдать, но Пэтти ее украла.

— Украла? Боюсь я вас не вполне понимаю, — сказал Евгений. «Она опасна», — подумал он, неприязненно глядя на нее.

Мюриэль впилась в Евгения горящим взглядом. Лицо ее выражало не иначе как ненависть.

— Ну, когда венчальные колокола зазвонят для вас с Пэтти? — выдавила она.

Евгений почувствовал гнев — маленькую красную точку в центре его поля зрения.

— Это касается, думаю, только нас — меня и Пэтти.

— Значит, вы собираетесь жениться? Вы влюблены? Пасторальная сценка, которую я застала на кухне…

— Не лучше ли вам оставить нас в покое? Вы пришли что-то сказать? Говорите и уходите. Меня ждут дела.

— Нет у вас никаких дел, — откинувшись на спинку стула, произнесла Мюриэль. Лицо ее стало вдруг гладким, непроницаемым, оно дышало холодом, как слоновая кость, как алебастр. Она глянула вверх, на икону.

— Думаю, вам следует кое-что узнать о Пэтти.

Страх предчувствия сжал сердце Евгения.

— Я не хочу с вами говорить…

— Тогда просто выслушайте. Надеюсь, для вас не тайна, что Пэтти — наложница моего отца.

«Не хочу… не надо», — пытался произнести Евгений.

— С отцом она в связи уже долгие годы, — продолжила Мюриэль четко и ясно, как на уроке. — Из-за нее отец ушел от матери, из-за нее мать погрузилась в отчаяние и умерла. Отец пользуется ею, когда хочет. Вот и на прошлой неделе, в пятницу днем они занимались любовью на полу, в его кабинете. Я слышала… как животные. Так что поинтересуйтесь у Пэтти, и увидите, что будет.

Евгений приложил руку к сердцу. С силой надавил на грудь. Что-то темное рвалось из него, а он не пускал. «Это ложь». Но его слова прозвучали так слабо, словно и не слова уже это были, а травинки, сухие и ломкие.

— Спросите у нее.

— Пожалуйста, уходите.

Она выполнила то, ради чего пришла, и осталась — тонкая, холодная и твердая, как игла. Евгений едва заметил, как она покинула комнату.

Глава 21

— Простите, дорогая, это снова я, Антея Барлоу. Может, я излишне настойчива…

— Он не хочет вас видеть.

— Ну, послушайте…

— Что, не понимаете? Он не хочет вас видеть.

— Но позвольте мне…

— Уходите.

— Я знаю, что отец Карл болен…

— Какое вам дело?

— И епископ…

— Хватит, убирайтесь.

— Но, Пэтти, поймите, отец Карл…

— Для вас я — мисс О'Дрисколл.

— Пэтти, милая, я все о вас знаю…

— Нет, не знаете. Никто обо мне не знает, никто.

— Бедняжка, понимаю, с вами что-то стряслось, поделитесь со мной…

— Ишь чего захотела! Ну-ка прочь от двери!

Обливаясь слезами, Пэтти с силой толкнула посетительницу. Персидская лама сдала позиции. Во мгле миссис Барлоу заскользила по

ступенькам и задержалась на кромке льда. Дверь захлопнулась. Пэтти, которая до этого шла в комнату Мюриэль, вернулась в пустой зал. О просительнице она тут же забыла. Опустив голову, она стала взбираться по ступенькам. Добравшись до верха, потеряла тапок, но не остановилась, чтобы надеть его.

Евгений порвал с ней. Она не могла не сказать ему правду, вернее, не согласиться с той правдой, которую он уже знал. Она попыталась объяснить случившееся в пятницу. Ее застали врасплох… только раз… давным-давно все кончилось. Но объяснения не получилось. Стоило ей заикнуться об этом, и она тут же теряла дар речи. Отчаяние мешало ей говорить. Что тут объяснять? Да, она грязная и никчемная, черная, да, она любовница другого. От правды никуда не денешься, даже если бы Карл не овладел ею тогда, он мог бы сделать это в любой час, в любую минуту. Она в его власти. Он — Господь, а она — земля, неподвижная, безгласная, бесконечно покорная. Евгений задавал ей вопросы мучительно, упорно, и чем дольше это продолжалось, тем яснее она понимала, насколько полно, насколько безнадежно принадлежит Карлу. Она давно куплена, и выкупить ее невозможно.

Может, когда-нибудь Евгений простил бы ее, перестал бы испытывать к ней отвращение и вывел бы из дома скорби, где она прозябала. Все могло случиться. Беда в другом: она была неотъемлема от этого дома. То, в чем он ее обвинил, — часть ее самой, и никакие благодатные свадебные колокола не могут ее изменить. Она была далека от него, целомудрие их общения было мнимым. Пэтти не сделала никакой попытки удержать Евгения. Он отвернулся, и она разжала руки. Все кончилось.

Она знала, что Мюриэль сделала это. Лицо Евгения, когда он ее встретил, сказало ей, что именно Мюриэль сделала. Мюриэль предала ее, и это было неизбежно. Но если бы она сама чуть раньше приоткрыла свою тайну, было бы по-иному? Нет. Признавшись, она тем самым возвела бы вокруг себя стену, которую он не смог бы преодолеть. Он понял бы, что любовь между ними невозможна. Отчаянно рыдая в своей комнате, она чувствовала как ненависть к Мюриэль, словно огромное черное растение, растет и поднимается где-то внутри нее. Да, она виновна, но Мюриэль достойна ненависти. И все же теперь она шла к Мюриэль, как будто разговор с ней мог принести облегчение.

Мюриэль сидела у себя в комнате в кресле, кута-

ясь в пальто. Когда Пэтти вошла, она равнодушно посмотрела на нее и снова устремила взгляд в некую точку перед собой. Дыхание проходило сквозь ее губы с каким-то мягким свистящим звуком и повисало облачком в ледяном воздухе. Шторы были открыты. Образовавшиеся на стекле плотные морозные узоры приглушали утренний свет, поэтому в комнате было сумрачно.

Пэтти присела на кровать. Ей всегда становилось не по себе рядом с Мюриэль, и сейчас тоже. Она чувствовала себя жалкой, опустошенной, ей хотелось кричать.

— Зачем вы так со мной поступили? — со слезами в голосе спросила она.

Мюриэль молчала, как будто не расслышала.

— Теперь я понимаю, что не надо было. Но это все равно, — спустя какое-то время, как бы подумав, ответила Мюриэль.

Пэтти дрожала от холода. Она сказала: «Это мерзко…»

— Наверное, — снова помолчав, отозвалась Мюриэль. Она по-прежнему сидела неподвижно, засунув руки в карманы. Взгляд ее блуждал где-то, дыхание с тихим шипением выходило изо рта.

— Я вас ненавижу, — сказала Пэтти. Ей хотелось толкнуть Мюриэль, ударить, но она не могла

встать с кровати.

Мюриэль чуть пошевелилась и посмотрела на Пэтти странно пустыми глазами.

— Да замолчи ты, Пэтти, не плачь. У нас тут у всех одно горе, в некотором смысле.

— Нет у вас никакого горя. Вы по злобе навредили мне. Я бы уехала и была счастлива, а вы намеренно все испортили. Я вас ненавижу. Как бы мне хотелось вас убить.

— Прекрати. Я же погибаю, неужели не видишь?

— Не понимаю, — вглядевшись в пустое, равнодушное лицо, сказала Пэтти. — С вами все в порядке.

— А тебе известно, что отец велел мне убираться, найти себе другое жилье? — задумчиво глядя на Пэтти, произнесла Мюриэль.

— Ну да, я слышала.

— И знаешь, почему он так решил?

Пэтти решение Карла понравилось. Несомненно, это ради нее, чтобы ей стало легче. Мюриэль жестоко обошлась с ней, значит, Мюриэль должна уйти. Но подумав, она поняла, что ошиблась. У Карла был какой-то иной повод.

— Потому что вы плохо поступили со мной? — неуверенно спросила она.

— С тобой? Да при чем здесь ты? Нет, тут иная причина. Ты и в самом деле не знаешь?

Пэтти смотрела на Мюриэль с подозрением, со все возрастающим ужасом. С Мюриэль она никогда не говорила о Карле, всем своим существом ощущая, что это опасно. Надо бежать из комнаты, надо заткнуть уши.

— Я вас не понимаю.

— Знаешь ли ты, что у отца любовная связь с Элизабет?

— С Элизабет? Невозможно.

— Тем не менее это правда. В это трудно поверить, но я видела их сквозь щель в стене. Мне не хотелось верить своим глазам. Но потом появилось много других доказательств. Не могу понять, почему я прежде об этом не догадывалась. Их связь началась не сегодня. Несчастная Элизабет, — Мюриэль говорила холодно и устало. Она не смотрела на Пэтти, словно впечатление от сказанного ее вовсе не интересовало.

Пэтти сидела на кровати сгорбившись, закрыв глаза. «Вы лжете», — хотелось сказать ей, но язык не слушался. На самом деле она сразу поверила Мюриэль. Словно завеса упала с чего-то, чьи очертания были давно ей знакомы.

— Может, и не стоило тебе это говорить, — все

так же медленно и бесстрастно продолжала Мюриэль, — но все кончилось, дом рухнул. Осталась только эта правда, и надо взглянуть ей в лицо. Надеюсь, ты веришь мне. Если нет, спроси у Карла.

— Я верю, — пробормотала Пэтти, склонив курчавую голову. Как будто она держала Карла, а он вдруг стал крохотным, как орех.

Когда Карл потребовал подтверждения ее любви к нему, она подумала: он знает о ее симпатии к Евгению. Когда он спросил: «Согласна ли ты пострадать за меня, быть распятой за меня?» — она подумала: речь идет о каком-то простом, знакомом страдании. За Карла она готова была принять любую муку, но только не эту. Эта была выше ее сил.

— Железный порядок, железная организация, — говорила Мюриэль, как бы думая вслух. — Вот что поражает. Я припоминаю, что была в Элизабет… какая-то привычка. Будь это что-то минутное, неожиданное, впечатление было бы иное. Нет, тут другое. Это, скорее, превратилось в ритуал. И, наконец, меня попросту просят удалиться. Он останется рядом с Элизабет. Они станут чем-то вроде супружеской пары. Они и теперь пара.

«Они станут супружеской парой, — подумала Пэтти. — А я буду им прислуживать».

— Так вот, я ухожу, — сказала Мюриэль. — Освобождаю место. И тебе, Пэтти, советую: уходи. Пусть остаются. Я тебе от всей души советую. Надо беречь рассудок, надо.

— Мне, боюсь, его не уберечь, — отозвалась Пэтти. Она прижала руку к губам, как будто ее тошнило. С мучительной болью тело распадалось на куски. Значит, нет спасения, никто не зовет заблудшую душу, никто не плачет в вечерней росе. Дом рухнул. И сейчас Пэтти хотелось только одного: все разорвать и разрушить. Мир все-таки наказал ее за черноту. Она сказала: «Теперь я открою вам нечто настолько тайное, что я сама почти забыла это».

— Что?

— Он приказал мне молчать, и я заперла это так глубоко, что едва припоминаю.

— Так что же?

— Знаете ли вы, кто такая Элизабет?

— Не понимаю.

— Она ваша *родная* сестра.

Мюриэль вскочила. Она подошла к Пэтти и с силой тряхнула ее за плечи. Пэтти покачнулась, послушно, как кукла.

— Пэтти, что ты несешь? Ты с ума сошла…

— Оставьте меня. Я правду говорю. Вы долж-

ны мне спасибо сказать, ведь вам нужна была правда. Элизабет вовсе не Джулиана дочь. Она дочь Карла. У Джулиана никогда не было детей. Джулиан и Карл поссорились из-за какой-то девушки, это случилось уже после их женитьбы. У Карла была с этой девушкой связь, но она сбежала с Джулианом, который бросил жену. Карл соблазнил жену Джулиана, но так, из мести. Когда Джулиан узнал, что его жена беременна, он покончил с собой… Он все это рассказывал мне… давно… когда любил меня, — голос Пэтти перешел в рыдание.

Мюриэль стояла неподвижно, как-то криво повернув голову. Все тело у нее искривилось. Потом она осторожно села на стул.

— Ты можешь поклясться, что это правда, Пэтти?

— Клянусь. Не верите, спросите его.

— Значит, нет сомнения… что он отец?

— Нет.

— А не думаешь ли ты, что он все это выдумал?

— Нет. Прежде он от меня ничего не скрывал. К тому же я нашла кое-какие письма. Он их потом уничтожил. Спросите его, спросите.

— Думаешь, Элизабет знает?

— У нее спросите.

— Как же он может…

— Потому что это он. С ним это должно было случиться. Он думает, я все буду терпеть. Но это выше моих сил.

— Знаешь, ты сейчас иди, Пэтти, — сказала Мюриэль. — Мы продолжим разговор в другой раз.

Пэтти встала с постели. Мюриэль легла, вытянулась и закрыла глаза. Она лежала неподвижная, бледная, протянув руки вдоль тела, выдыхая бледные струйки пара. Она как будто уже погружалась в забытье.

Пэтти вышла, оставив дверь открытой. Она шла по коридору, цепляясь за стену, как летучая мышь. Слезы струились у нее из глаз, из носа, изо рта. Надо уходить, надо, наконец, оставить его. Она любит его, но ее любовь бессильна. Любовь эта дана ей на муку, но не ему во спасение. Чтобы спасти, надо сильнее любить, глубже, надо больше страдать. Если она останется, то придется видеть его с Элизабет. С этим она не может смириться. Чудо искупления она для него совершить не может.

Глава 22

Еще немного и — ее здесь не будет. Не надо говорить с Пэтти. Не надо видеться с Элизабет. Пэтти сказала правду. И хватит разговоров, обсуждений, доказательств. Незачем бередить то, с чем и так придется прожить всю оставшуюся жизнь. Лучше пусть это уснет и, может быть, как у Пэтти, забудется.

Большую часть дня после ухода Пэтти Мюриэль провела на постели в полузабытьи. Пронизывающий холод все больше гасил в ней сознание, и наконец осталась лишь крохотная искорка, которую и сознанием вряд ли можно было назвать. Что-то давило на нее, прижимало к постели. Может, это ангел смерти медленно забирал безвольное тело в свои холодные объятия? Свет дня, и без того слабый, вскоре совсем погас, и пришла тьма. Время прошло. Шаги прозвучали. Свет просочился из коридора через полуоткрытую дверь. Но никто не вошел. Пэтти не пришла. Карл не пришел. И Элизабет не позвала ее привычным звуком колокольчика. Дом погрузился в молчание.

Мюриэль очнулась и подумала: заснула. Руки и ноги от холода превратились в длинные, схваченные морозом побеги. Они не сгибались. Она покачалась немного туда-сюда. Боль влилась в ее тело как какая-то посторонняя сила. Это чувство было для нее ново. Хотя объективно она знала: это боль, которая возвращает ее телу чувствительность. Если лежать неподвижно, вскоре наступит смерть от холода и паралича воли. Воля возвращалась к ней как боль. Она закрыла глаза и стиснула зубы. Постепенно ей удалось сесть и опустить ноги на пол. Ступни превратились в какие-то шары и не хотели плотно становиться на пол. Она пошевелила лодыжками и ощутила стремительный прилив крови. Наконец она смогла встать. Сняла пальто и надела свитер. Снова надеть пальто — подвиг почти невероятный, но после нескольких попыток ей это удалось. В свете, сочившемся из коридора, она глянула на часы. Всего лишь десять вечера. Она тихо спустилась по ступенькам, вышла из дома и из ближайшей телефонной будки позвонила Норе Шедокс-Браун.

Услышав голос Норы, она почувствовала такое облегчение, что не сразу обрела дар речи. Нора каким-то невероятным образом тут же все поняла, и монолог ее сложился из полных здравого

смысла, успокаивающих фраз. Когда Мюриэль начала бессвязно рассказывать, Нора опередила все ее объяснения: «Значит, ты хочешь покинуть дом? Завтра утром? Безоговорочно поддерживаю твое решение. Можешь приходить ко мне и жить сколько захочешь. Отдых, вот что тебе сейчас требуется. Через несколько дней я собираюсь к кузине. У нее вилла в Сан-Ремо. Поедем вместе? Там можно будет принимать солнечные ванны, хотя в это время года даже в Италии холодновато».

Мюриэль вышла из будки, бормоча: Сан-Ремо, Сан-Ремо. В конце концов, где-то еще есть жизнь.

А есть ли? Беда поджидала ее возвращения домой. Здесь механизм, которому она принадлежит. Здесь материя, из которой она сотворена. Бежать бесполезно. Она легла на постель в пальто, и ее вновь охватила дрожь. Она пробовала думать об Элизабет, но знакомый образ так изменился, что это уже были мысли о ком-то другом. Железная дева. Она представила комнату Элизабет. Огонь мерцает, головоломка лежит на полу. Может, уже собрана. Колеблющееся пламя, глаза Элизабет в полутьме и звон колокольчика, как призыв с того света.

Она переворачивалась с боку на бок, но холод мешал уснуть. О чем теперь думает Элизабет,

о чем она может думать? Что она, Мюриэль, шпионка? Предательница? Что она все эти годы подсматривала за ней, подозревала, вынашивала замыслы? Я знаю — и за это меня ненавидят. Господи, зачем мне было дано это узнать? Зачем я не ушла с Элизабет прежде, чем все открылось? Но согласилась бы она уйти? Сейчас уже ясно, что не согласилась бы. Но какая жизнь ожидает ее здесь?! Разве она не жертва? И разве не достойна жалости? Неужели то, что произошло, так катастрофично, что изменило даже детские воспоминания? Мюриэль думала: бедная Элизабет. Но в душе у нее было пусто. Она думала: это моя сестра. Но слова не наполнялись смыслом. Единственное, что еще волновало Мюриэль, это — кто же теперь будет кормить Элизабет? Неужели ей суждено умереть здесь, в доме, от голода, как забытому всеми животному? Колокольчик молчит. Как странно, что кто-то другой будет приносить ей еду. Мюриэль задремала, и ей приснился отец, такой, каким он был когда-то.

Пришло утро и принесло с собой предчувствие гибели. «Это худший день моей жизни, — думала Мюриэль. — Боже, дай же мне силы пережить его». За окном поднимался бледный рассвет. Туман как будто поредел. В комнате было не теп-

лее, чем снаружи. Все онемело в душе Мюриэль, даже тихий голосок самосохранения, который продолжает звучать и после того, как рассудок замолкает. Пусть с трудом, но в ней ожила мысль, что надо уходить. И если бы ей намекнули, что даже сейчас не поздно подойти к комнате Элизабет и распахнуть дверь, она восприняла бы это всего лишь как рассудочный, академический план какой-то пытки. Она двигалась машинально, и дрожь не отпускала ее.

Было уже почти девять утра. Она начала собирать чемодан, кое-как складывая вещи замерзшими руками. Блокнот и листки с поэмой положила на дно. Прежде чем отправить их туда, она мельком просмотрела написанное, и оно ей не понравилось. Она поспешно забросала листочки какими-то свитерами, какой-то юбкой. Пальцы не слушались, и она готова была расплакаться от отчаяния. Чемодан не закрывался. Она, должно быть, страшно шумит. Втащила чемодан на кровать и присела сверху. Таким образом ей удалось закрыть один замок. Она стала искать пальто и обнаружила, что стоит на нем. Не оглядываясь, вышла из комнаты. Электрический свет все еще горел на площадке. Она осторожно пошла вниз. В кабинете отца играла музыка. Она

открыла входную дверь.

— Простите за столь ранний визит. Не могу ли я видеть пастора?

Миссис Барлоу, огромная, как медведица, загородила наполненный мутноватым светом дверной проем. Такая большая, такая плотная, что Мюриэль почувствовала себя перед ней каким-то призраком и даже секунду сомневалась, поймут ли они друг друга.

— Я, конечно, слишком рано, но мне необходимо повидать его. Понимаете…

— Отца сейчас нет, — проговорила Мюриэль с огромным усилием, но все же ясно и отчетливо.

— О, неужели? Тогда скажите мне…

— Он уехал, — сказала Мюриэль высоким тонким голосом, — на свою виллу… в Сан-Ремо.

— Какая жалость. А нельзя ли…

Мюриэль закрыла дверь. Она ждала, пока шаги удалятся. Хотела опять открыть дверь, но тут вспомнила, что не все взяла. Снотворное!

«Тебе было так плохо, но ты ни на секунду не задумалась о самоубийстве, — сказала себе язвительно. — Очевидно, предпочитаешь душевные муки. Поэму взяла, а таблетки забыла. Нет, скорее всего, на роду тебе написано выжить». Она совсем было решила бросить таблетки, но рассу-

док победил. Будущее… кто знает, что оно сулит. Оставив чемодан у двери, она снова быстро и бесшумно поднялась наверх. В отцовской комнате продолжала звучать музыка. Войдя к себе, она стремительно открыла буфет, где хранились таблетки. Бутылочка исчезла.

Мюриэль не поверила своим глазам. Она заглянула на все полки, обшарила все закоулки. Напрасно. Мгновение назад она была еще как в тумане. Но теперь действительность заставила ее очнуться, и она стала рассуждать трезво. Могла ли она сама перепрятать таблетки? Нет. Совсем недавно бутылочка еще была здесь. Мюриэль хмуро стояла перед буфетом. Может, кто-нибудь случайно взял ее? Но в доме никто не пользуется снотворным. Элизабет… но та хорошо спит. Отец может бодрствовать в самое неподходящее время, но бессонницей и он не страдает.

Мюриэль медленно закрыла дверцы буфета. Странно и непонятно. Но ничего не поделаешь. Наверное, этому есть объяснение, может, даже очень простое, но сейчас она не будет об этом думать. Ей надо уходить. Эта загадка не единственная и не самая худшая из всех, оставляемых ею. Надо уйти раньше, чем выйдет отец, раньше, чем Элизабет позвонит в свой зловещий коло-

кольчик. Мюриэль вышла из комнаты и пошла к лестнице.

Музыка еще звучала. «Лебединое озеро». Мюриэль узнала «Танец маленьких лебедей». Значит, все в порядке. Она прошла несколько ступенек. Но вдруг вернулась и быстрым шагом направилась к комнате отца. Постучала. Ответа не было. Она постучала еще раз и после этого осторожно открыла дверь.

Внутри было темно. Шторы задернуты, настольная лампа чем-то прикрыта. Мюриэль боялась двигаться. Она ждала, что голос вот-вот окликнет ее из тьмы. Но голоса не было. Потом сквозь тихое журчание музыки она различила другие звуки — тяжелое дыхание. Отец, должно быть, спал.

Глаза постепенно привыкли к темноте. Она сделала несколько осторожных шагов и всмотрелась в угол. Отец, одетый в сутану, лежал на ковре, под головой у него была подушка, дыхание его было едва различимо: хриплые звуки вырывались из горла с большими промежутками. Мюриэль прикрыла дверь и приблизилась к нему.

Она похолодела от ужаса. Ей показалось, что глаза у него открыты, что он смотрит на нее. Нет, это всего лишь игра света. Глаза были закрыты. На полуоткрытых губах застыло какое-то подобие

усмешки. Одна рука протянулась по ковру, ладонью вверх. Мюриэль замерла, все еще не сводя с него глаз. Что она здесь делает? А если он сейчас проснется и обнаружит, что она смотрит на него? Но неодолимое чувство тревоги уже владело ею. Она осторожно сняла покрывало с лампы. Свет упал на Карла. Но он не шевельнулся. И тут она заметила маленькую голубую бутылочку. Бутылочка валялась возле ковра, пустая.

Мюриэль знала, что это случится, с той минуты, как ушла из собственной комнаты, но знала как-то немо и неподвижно. Она стояла теперь у стола, задыхаясь, чувствуя, что теряет сознание. Она неловко опустилась на стул. «Ушел», — подумала она. И закрыла глаза.

Миг спустя она очнулась. Музыка! Карл поставил пластинку. Значит, несколько минут назад он еще был в сознании. Она подошла к ковру. С трудом заставила себя прикоснуться к нему. Рука легла ему на плечо. Потрясла и окликнула: «Карл!» Но глаза не открылись, тело не шевельнулось, мерное дыхание продолжалось. Мюриэль снова потрясла, сильнее, попробовала поднять за плечи. Тело выскользнуло из ее рук.

Мюриэль понимала: надо звать на помощь. Надо бежать, звонить в больницу. Ведь он всего

лишь в обмороке. Он совсем недавно проглотил таблетки. Ему еще можно помочь, его можно вернуть. Она бросилась к двери. Но остановилась, как будто кто-то удержал ее. Ей стало до боли жаль себя. То, чего она боялась, настигло ее. Надо ли возвращать Карла?

Она еще раз всмотрелась в его лицо. Оно уже немного изменилось. Гладкая белоснежная кожа теперь стала сероватой, цвета истоптанного снега. Черты как будто погружались в череп. Даже волосы Карла, рассыпавшиеся по подушке, утратили свой глянец, утратили жизнь. Потускневшие волосы мертвеца… Мюриэль стиснула зубы. Теперь настало время думать, думать так, как она никогда не думала прежде. Но сейчас, видя все это, в силах ли она думать?

Карл принял решение. Вправе ли она отменять его? Она считала, что у нее есть суверенное право уйти из жизни когда хочешь и как хочешь, так вправе ли она не отпускать его? У него были причины, возможно, куда более ужасные и весомые, чем она представляет. Насильно вернуть ему сознание, которое он отверг и уничтожил, — ответственность за это она на себя брать не может. Воля и достоинство отца не должны быть попраны. Насмешка — тащить его за ноги назад в

опостылевшую жизнь. Сейчас, оказавшись перед выбором, она отвергла такое насилие над отцом.

Но власть у нее была, безусловно, была, власть выбора между жизнью и смертью. Еще можно вернуть его к жизни. Может, забыть, кто он, и просто спасти его? Но она не может забыть, кто он. А может, все-таки, вернуть ему свободу? Пусть потом решает заново. Она не собирается приговаривать его к жизни. Но он ведь всегда поступал так, как хотел. Надо ли сейчас ему прекословить? Как она может касаться этих ужасных вопросов, когда сама поражена ими и больна, больна присутствием смерти, смерти, таившейся в Карле, медленно уводившей его прочь. Даже если она будет кричать, смерть не услышит ее.

Мюриэль села и опустила голову на стол. Музыка продолжалась, воздушная, бесплотная, чистая и волшебно прекрасная. Далеко, там, где она звучит, нет ни боли, ни смерти. Здесь, в комнате, слышно было хриплое, размеренное дыхание Карла, словно он тихо, сосредоточенно вел какую-то беседу. «Эти вздохи сосчитаны, — думала Мюриэль. — Если сейчас ничего не сделать, они попросту иссякнут. За каким-то вздохом наступит тишина». Она невольно стала считать. Потом подумала: «Все вздохи всех людей сосчитаны.

Моя жизнь так же конечна, как и его. Мысли, решения не в моей власти. Никакая мысль не поможет мне теперь». Никогда прежде она не чувствовала так ясно полное отсутствие Бога. Нет никого, не на кого положиться, некому ответить, исчез краеугольный камень.

Она поднялась и немного походила по комнате. Потом подошла к нему и посмотрела на его спящее лицо. Показалось ужасной дерзостью — смотреть на это лицо. Покой, к которому он стремился, еще не объял его. На лице отражалась тревога. О Боже, может, он хочет, чтобы его разбудили, спасли? Если бы знать! Если бы она знала его волю. Если бы он сказал заранее, она поступила бы так, как того желал он. Она склонилась над ним, всмотрелась. Но осунувшееся, встревоженное лицо не дало ответа. Вдруг она заметила, что Карл сжимает что-то белое в правой руке. Смятый листок бумаги. После некоторых сомнений Мюриэль осторожно вытащила бумажку. Ждала ли она какого-то ужасного пробуждения? Боялась ли, что он проснется и узнает о ее проступке? Несомненно, он и теперь знает. Пальцы как будто удерживали листок. И вот он у нее в руках. Мюриэль расправила листок:

«Мой дорогой, это так ужасно, что я едва могу выводить слова. Я должна уйти. И если я тебя увижу, то не смогу этого сделать. Помнишь, я говорила, что никогда не уйду? Я бы не ушла, честно, не ушла. Ты знаешь, как я люблю тебя, дорогой. Но этого мне не перенести. Как ты мог так поступить? Я говорю об Элизабет. Мюриэль мне все рассказала. Это убивает меня. Я отдала тебе годы своей жизни, я отдала тебе всю себя. Я люблю тебя и была бы тебе служанкой, но с ней не могу, и раз уж решила уйти, то ухожу, не предупредив. Когда к тебе попадет это письмо, я уже буду далеко и не пытайся искать меня, да у тебя и не получится. Скорее всего, я уеду из этой страны. Не беспокойся обо мне. У меня есть сбережения. Я знаю, что мне будет плохо и я буду думать о тебе всю жизнь. Я не смогла стать такой, как ты хотел, это слишком тяжело для меня. Прости меня, пожалуйста. Ты понимаешь, что я так делаю из-за любви к тебе. Я люблю тебя и едва пишу. Прощай.

Пэтти».

Мюриэль дважды прочла письмо, после чего порвала его на кусочки. Письмо успокоило ее, над ним можно было думать. Значит, Пэтти набралась смелости и покинула дом. Опередила ее. Значит, он совершил это из-за Пэтти. Он узнал, что Пэтти знает, узнал, кто ей рассказал. «Что же он думал обо мне?» — спрашивала себя Мюриэль. Он же что-то думал. А сейчас, снится ли она ему в последнем сне, полном причудливых видений? Она оглядела комнату. Может, где-то лежит письмо, может, он написал ей, оставил хоть какой-то клочок для нее? Она осмотрела стол, поискала на полу, около ковра. Вдруг заметила полоску белой бумаги, торчавшую из-под ковра, около его головы. Она поспешно выхватила полоску. Это была бумажная стрела.

Мюриэль начала плакать. Тихими, горькими слезами. Она любила своего отца, только его и любила. Почему ей не дано было понять это раньше? Всегда была тьма в ее отношениях с отцом, и в этой тьме спала ее любовь. Если бы не Элизабет. Если бы только она и Карл. Она точно помнит, что когда-то все так и было. Она его так любила. Она бы могла сделать его счастливым, могла бы спасти его от демонов. Но Элизабет всегда вмешивалась. Все ее связи с миром, все ее связи с отцом

проходили через Элизабет. Теперь она поняла, как называется та боль, которую Элизабет причиняла ей и к которой она так привыкла, что едва замечала ее. Эта боль называлась — ревность.

Мюриэль все плакала и тихо поскуливала, и дрожала, стоя в освещенной светом настольной лампы комнате, над погружающимся в забвение телом. Придет ли снова любовь? Любовь умирала, и она не в силах была спасти ее. Она не в силах была разбудить отца и сказать ему, как она его любит. Ее любви был отпущен только этот промежуток между тьмой и тьмой. Любовь заточенная, запечатанная. Вот и вырвалась, как дух, из своего заточения. Пусть уходит — больше ничего она не может для него сделать. Жестоко будить того, для кого счастьем стало — уснуть. Пусть не стряхивает, как Лазарь, сон о преисподней в самой преисподней, там, где любовь не в силах воскрешать и спасать. Слишком поздно она узнала, а может, знала и раньше, но надменное сердце всему перечило. Теперь никогда не достичь ей мира простых невинных вещей, где искренне чувствуют, где звучит счастливый смех, где пес перебегает улицу.

Мелодия «Лебединого озера» вдруг оборвалась. Двигаясь как во сне, Мюриэль наклонилась, что-

бы снова поставить пластинку. Ее слезы упали на складки сутаны. Он умер, он отдал ее Элизабет. Теперь ей уже не уйти от Элизабет. Повернувшись к спящему, она увидела между шторами яркую полоску света. Устало, тяжело она распахнула шторы. Туман исчез. На голубоватом небе светило солнце. На фоне плывущих облаков она увидела башни святого Ботолфа и святого Эдмунда, святого Дунстана и величественный купол собора святого Павла. Теперь ей не уйти от Элизабет. Карл соединил их. Одна станет извечным проклятием для другой — до конца дней.

Глава 23

— Маркус.

— Да, Нора.

— Вы пойдете посмотреть, как они уезжают?

— Не вижу в этом смысла.

— Девочки отправятся прямо на новое место?

— Кажется, да.

— Это где, в Бромли, или в каком-то ином столь же любопытном районе?

— В Бромли.

— Мюриэль неплохо бы отдохнуть где-нибудь, весна наступает.

— Да, она может себе позволить.

— Ведь у них у обеих теперь, думаю, есть средства?

— Не сомневаюсь, что Карл что-то и Пэтти оставил.

— Пэтти живется неплохо. Будете ей писать, не забывайте, что она теперь — Патриция.

— Она, по всей видимости, благоденствует в этом африканском лагере для беженцев.

— Несчастья других приносят нам радость.

— Нет ли цинизма в этом замечании, Нора?

— Нисколько.

— Пэтти слишком спокойно восприняла случившееся, вам не кажется?

— В Пэтти есть жестокость.

— Во всех нас есть жестокость.

— Девочки ведь тоже восприняли спокойно?

— Мюриэль спокойно. А с Элизабет я так и не увиделся.

— Ни тени тревоги?

— Ни малейшей…

— Странная молодая особа.

— Вы написали ей еще раз?

— Нет, я оставила попытки увидеться с Мюриэль.

— На следующей неделе собираются сносить дом.

— А вы читали в «Таймс» об этой башне Рена?

— Да, прискорбно. Есть ли новое место для Евгения Пешкова?

— Еще нет.

— Полагаю, эмигрантское пособие будет, как и раньше, ему выплачиваться?

— Не беспокойтесь. Я и есть его пособие.

— То есть как?

— Это я ему плачу. А он думает, что какой-то фонд.

— Нора, вы удивительная женщина.

— Надо разумно подходить к благотворительности. У вас это, мне кажется, не получается.

— Вы подразумеваете Лео? Кстати, не забыть бы, что он сегодня пожалует на чай.

— Вы считаете, что он и в самом деле добьется успехов в русском и французском?

— Да.

— Но триста фунтов незачем было ему давать.

— Я же объяснил, это своего рода фонд.

— Он вас эксплуатирует.

— Нонсенс. Думаю, я и в самом деле пойду посмотрю, как они уезжают.

— Вы не останетесь на ночь?

— Нет, мне необходимо вернуться в Эрл Коурт. Буду работать допоздна.

— Так вы не забросили работу над книгой?

— Нет, но это будет совсем другая книга.

— Вы еще не решили, как перевезти мебель?

— Еще нет.

— Я берусь похлопотать.

— О, нет, пожалуйста, не беспокойтесь! Я… смотрите, дождь перестал!

— Ну тогда вам самое время отправляться.

— А вы не придете проводить, Нора?

— Нет. Вот сдоба к чаю.

— Сдоба. Чудненько.

Строительная площадка кишела людьми и механизмами; и над всем этим гул машин, выкрики, треск транзисторов поднимались, смешиваясь воедино, в бледно-голубое небо. Недавно прошел дождь и покрыл черную поверхность маленькими прозрачными лужицами, каждая из которых отражала слабый серебристо-голубоватый свет. Оранжевые чудовища огромными клешнями скребли черствую землю, цемент с грохотом вращался в огромных барабанах. На некотором расстоянии уже поднимался стальной скелет будущего строения.

Дом пастора был виден издалека — красное пятнышко в самом низу грациозной и величественной серой башни Рена. Маркус проделал путь по истоптанной мостовой, мимо зычно перекликающихся мужчин, мимо плавно маневрирующих грузовиков. Что ему понадобилось в доме пастора? Зачем, скажите на милость, он шел туда? Во время мрачных церемоний, связанных со смертью Карла, и за тот месяц, или чуть больше, который прошел с тех пор, он несколько раз видел Мюриэль. Но Элизабет не показывалась ни тогда, ни после. Он предлагал помощь, но Мюриэль спокойно и вежливо отказывалась от

нее. Самоубийство отца как будто нисколько не взволновало ее. Она отвергала любую помощь, и сегодня Маркус мог бы не приходить. Он пришел просто как зритель, потакая собственному болезненному любопытству.

Маркус жил в каком-то новом времени, во времени «после смерти Карла». Все это казалось уже чем-то далеким, как бы состарившимся. Когда ужасное известие настигло его, он остался ни с чем, без смысла и цели. Карл представлял собой некий наполненный глубочайшим смыслом символ. Маркус готов был размышлять о Карле, бороться с Карлом, страдать из-за Карла, возможно, даже спасти Карла. Неожиданно расстаться — вот к этому он не был готов. Брат ушел, а извечная любовь к нему осталась, и Маркус не знал, что с ней делать. Чуть больше открытости с его стороны, чуть больше понимания, даже резкости — и Карл был бы спасен? Может, Карл ждал чего-то от него, а он не понял?

От чего умер Карл? Какой демон, какой призрак оказался настолько ужасным, что и эта яростная жизненная сила не выдержала, погасла? Если Карл отчаялся, то с чем было сходно его отчаяние? А может, он прежде все хорошо обдумал и просто ушел — совершил еще один шаг, как оказалось,

последний, на длинном, полном тихого цинизма пути? Соединим ли этот поступок с той бушевавшей в Карле страстью, перед которой Маркус готов был склониться? А не сыграла ли в смерти Карла роковую роль какая-нибудь случайность? Мог ли он умереть от дурного расположения духа?

Брат потерпел поражение. Для Маркуса эта мысль была непереносима. Ему необходимо было — и он понимал, насколько глубоко эта потребность уходит корнями в детство, — видеть Карла могущественным. Он сам жил этим могуществом, даже когда осуждал его, возможно, особенно когда осуждал. Ведь он уже давно свыкся с мыслью, что Карл — мудрец, пусть темный, но мудрец. Мрачная философия Карла ранила его, как лезвием, правдой. Правда всегда так или иначе ранит, вот почему мы так мало знаем о ней. Правда Карла была сродни агонии. Можно ли такую правду перенести, а если нельзя, то правда ли она? Карл жил ею, возможно, был сведен с ума ею, возможно, умерщвлен ею. На Маркуса лишь дохнуло этой правдой — и он в страхе отпрянул. Но и дуновения хватило, чтобы он понял: в своей книге он движется по ложному пути. Он воображал, что у него есть время учиться у Карла,

помогать Карлу. Неожиданный конец оставил его в болезненном изумлении, с вновь вернувшимися сомнениями. Не тщетно ли все это, страсть Карла и его собственные размышления? Разве смерть не доказала это? Может, всякая смерть доказывает тщету страстей и размышлений?

Большой мебельный фургон стоял около дома. Погрузка уже заканчивалась. Маркус уныло стоял в стороне и наблюдал. Он узнавал вещи, которые когда-то наполняли отцовский дом. Вещи, вещи — они переживают нас и переходят на подмостки, о которых нам не дано знать. Его задело, что Мюриэль не посоветовалась с ним, как распорядиться мебелью. Ведь не все должно было переехать в Бромли. Она также ничего ему не предложила на память о Карле. Теперь казалось, что это именно Карла упаковывают и поспешно увозят прочь. Тайна Карла стала маленькой, как скамеечка для ног.

Дверцы фургона с лязгом закрылись. Водитель взобрался на сидение. Фургон медленно отъехал. Большая квадратная тень пробежала по красному кирпичному фасаду и коснулась основания башни Рена. Дверь дома осталась открытой, и с того места, где стоял Маркус, виден был пустой зал. Дом превратился в пустую скорлупу, и его за-

гадочное пространство должно было смешаться с прозрачным воздухом. Все это вскоре останется только в памяти. И в самом деле, под робкими лучами солнца дом уже становился похожим на воспоминание. Он казался ненастоящим, как цветной слайд в темной комнате. «Не войти ли», — думал Маркус. Но он боялся войти. Он не сомневался, что Мюриэль и Элизабет еще в доме.

Пока он ждал и гул строительной площадки рекой плыл над ним, еще одна тень упала рядом. Подъехало такси. Шофер вышел, подошел к отворенной двери и позвонил в колокольчик. В опустевшем доме звук прокатился непривычно громко. Маркус ждал. Изнутри донеслось эхо медленных, странно тяжелых шагов. Потом он увидел — в дверях показались две девушки и как бы замерли на мгновение. Они соприкасались головами, их тела как будто были переплетены. Потрясенный, Маркус понял: Мюриэль держит Элизабет на руках. Шофер подбежал к машине. Элизабет робко коснулась ногами земли. Маркус увидел ее лицо, вытянутое, бесцветное, наполовину скрытое волосами, блеснувшими на солнце зеленоватым оттенком потемневшего от времени серебра. Лицо нимфы — он знал его и в то же время как будто видел впервые. Большие синева-

то-серые глаза заморгали болезненно от яркого света и остановились на нем равнодушно, без интереса. Ей помогли забраться в такси. Мюриэль последовала за ней, и дверца захлопнулась. Такси тронулось с места, проехало осторожно по строительной площадке и исчезло в узком лабиринте города. Элизабет его не узнала.

Маркус вздохнул и на какое-то мгновение почувствовал, как бьется сердце. Потом, почти не давая себе отчета в том, что делает, подошел к двери и вошел в дом. Там больше не было ни ловушек, ни призраков. Те, кого он боялся, ушли. Девушки понесли куда-то в иное место свое загадочное единство, свою бледную непроницаемость. И он, он перестал существовать. Пылало великое пламя, но вот светильник, горевший в центре, потух — и свет медленно начал гаснуть. Застарелый страх померк, а с ним и любовь должна была либо тоже померкнуть, либо стать неузнаваемо новой. Неудержимая сила человеческой жизни наверняка и в этом случае даст росток, который, как всегда, окажется ярче смерти.

Маркус стоял посреди зала. Ему вдруг стало не по себе. Кто-то есть рядом, кто-то смотрит, перемещается. Краем глаза он заметил чью-то

тень. Это был Евгений Пешков. Увидев Маркуса и сочтя, что тот его не заметил, он скрылся под лестницей. Маркусу захотелось окликнуть его, но он передумал. Ему стало немного досадно, что Евгений прячется от него, хотя у него никогда не было стремления подружиться с отцом Лео. Может, дать ему немного денег, скажем, фунт? Возможно, девушки забыли это сделать. Но он сразу отверг эту мысль. На сегодня все, что им остается, это — избегать друг друга, не узнавать друг друга, пристыженно отворачиваться друг от друга.

Маркус пошел наверх по ступенькам. Он старался ступать тихо, но шаги все равно отдавались негромким эхом. «Вот и кабинет Карла», — подумал он, подойдя к какой-то комнате. Из распахнутой двери падал солнечный свет. Комната была совершенно пуста, и пыль толстым слоем уже успела покрыть пол. Ничто здесь больше не напоминало ту темную пещеру, где он в последний раз видел брата живым и где Карл нанес ему удар, показавшийся несомненным знаком любви. Действительно ли это была любовь? Он предпочел не вдумываться.

Он подошел к окну. Шпили городских строений посверкивали на солнце, как будто крохотные

звездочки загорались на них то здесь, то там. Маркус начал думать о Джулиане. Он увидел его отчетливо, как давно не видел — грациозным, совсем юным мальчиком. Они любили его. Они любили друг друга, все трое. Теперь и Карл ушел, отдалился так быстро, словно спешил отыскать путь к Джулиану там, в далекой стране юности. Остался только он, Маркус, отягощенный этими смертями, этими жизнями. Теперь только внутри него все то, что было когда-то в них неповторимого, жило и разрасталось.

Позади раздался какой-то шорох. Он резко обернулся. В дверях стояла женщина. На ней было элегантное синее твидовое пальто, пушистые, тронутые сединой волосы выбивались из-под крохотной синей шапочки. Она появилась так неожиданно, стояла так неподвижно, смотрела с таким изумлением, что Маркус невольно подумал: это призрак. Она сделала какое-то движение. Эти широко расставленные, восторженные глаза… Такие знакомые. И вдруг отозвалась память.

— Антея!

— Маркус?

— Не верю своим глазам! Откуда ты? Ты нисколько не изменилась.

— И ты не изменился, ни капли!

— Но где ты пропадала все эти годы? И что ты здесь делаешь? Вот уж кого не ожидал здесь встретить.

— Я работаю в этом районе. В социальной службе, психиатр.

— Социальный работник, психиатр! Но почему же мы с тобой не встретились раньше, почему я о тебе ничего не слышал?

— Ну, может, и слышал. Миссис Барлоу — это я. Ты же не знал мою фамилию по мужу.

— Боже правый, так вот кто такая миссис Барлоу!

— Да, та самая ужасная особа!

— Ну что ты, что ты! Антея, ты все еще в коммунистической партии?

— Нет. Но и христианкой меня, честно говоря, не назовешь. Сейчас я ближе к буддизму.

— Но почему ты не давала о себе знать? Понимаю, что это было так давно…

— Так давно, что стоит задуматься: ворошить ли прошлое? А вообще-то я только недавно вернулась в Лондон. И с тех пор занималась одним необычным делом. Понимаешь, это имело отношение к Карлу…

— Карлу?

— Да. Епископ настоятельно просил меня уви-

деться с Калом и составить отчет о его здоровье. Но все должно было оставаться в тайне. Мне следовало явиться как бы по делам прихода. Епископ очень беспокоился…

— Удивительно, что епископ попросил именно тебя. Что за совпадение…

— Это не совсем совпадение. Епископ знал, что я знакома с Карлом. Он счел, что это намного облегчит задачу. О, епископ знает все о нас, смертных!

— Но до чего странно. Карл был страстно влюблен в тебя когда-то, ты знаешь? То есть все мы были влюблены, Джулиан, я… Ты доставила нам столько тревог!

— Знаю.

— А Карл знал, что ты здесь?

— Нам не довелось встретиться.

— Но ты могла написать ему.

— Писала, но он не отвечал. Он замкнулся в себе совершенно.

— Как странно. И невероятно печально.

— Он так и не узнал.

Маркус посмотрел на Антею. Конечно, она изменилась. И при этом осталась все той же — восторженной, слегка взбалмошной, несносной девчонкой. Значит, теперь она занимается психиатрией. Ну что ж, неплохо. Он рассказывал

Норе, что та девушка была странной. Она такой и осталась. Но он любил ее.

— Прости, что я не написала тебе, Маркус. Понимаешь, Карл был…

— Понимаю.

— Но я как раз собиралась тебе написать. У меня масса новостей о Лео.

— Лео? Так ты с ним знакома?

— Да, мы большие друзья, я и Лео.

— Но как же вы познакомились?

— О, это длинная история. Он приходит ко мне со своими маленькими заботами. Он был обделен материнским теплом. И время от времени я даю ему немного взаймы.

— Взаймы? Интересно, для чего? На девушек, на мотоцикл, не так ли?

— Нет, нет. Деньги нужны ему для работы в Лестере.

— И что же он там делает?

— В Лестере он занимается малолетними правонарушителями. Такое благородное дело.

— Малолетними правонарушителями? Чудесно! Ты, значит, замужем, Антея.

— В разводе, — вздохнула она.

— А, прекрасно. То есть… не пообедать ли нам вместе, Антея? Приходи в следующий понедель-

ник, ко мне домой приходи.

— С удовольствием. А я знаю, где ты живешь. Я нашла твой адрес в телефонной книге. Но разве ты не переезжаешь? Говорят, что…

— Нет, — сказал Маркус. — Я не переезжаю. Решительно не переезжаю.

— Ой, мне надо спешить. Тут поблизости, в лечебницу.

— Значит, в понедельник. В половине седьмого.

— До свидания, Маркус.

Когда ее шаги затихли и входная дверь закрылась, он начал смеяться. Рядом с ней он всегда смеялся. Чудачка, она заряжала того, кто оказывался с ней рядом, своей жизненной энергией, и тот невольно начинал хохотать. Карл тоже хохотал, всей душой отдаваясь этому непринужденному, необъяснимому веселью.

Как странно все складывается. Антея вернулась. И сколько радости в этом неожиданном повороте событий! Как простодушно невинно все это, радостно невинно. Вскоре они увидятся вновь Он войдет в обычный мир, где живет она, и там воскреснут его силы. Мир, где люди не требуют друг от друга ничего сверхъестественного, мир уютный, трогательный, забавный.

Маркус и не заметил, как вышел из комнаты и стал спускаться по ступенькам. Продолжать ли работу над книгой? Может, эта книга по силам только гению, а он ведь не гений. Возможно, то, что он хотел сказать о любви и человечности, истинно, вот только в виде теории эту истину выразить невозможно. Ну, ничего, он подумает об этом позднее. А сейчас больше всего ему нужен отдых, каникулы.

Он вышел на улицу. Солнечный свет, бодрый ритм большого строительства — как хорошо! Веселая перекличка голосов, трели транзисторов окружили его. Фантастическая, вечная Антея чудесным образом снова рядом. Социальный работник, психиатр, подумать только! Загадочно все это, невероятно загадочно.

Глава 24

Тихо насвистывая, Евгений Пешков упаковывал чемоданы. Вещей у него немного. Это хорошо. С большим багажом куда сложнее перебираться. Мисс Шедокс-Браун нашла для него жилье в церковном приюте в Вест Бермондсей[23]. Сначала придется жить с соседом, но потом наверняка удастся получить отдельную комнату.

Уже несколько дней Евгений жил один в доме пастора. Мебель увезли, девушки уехали. Лео, у которого неожиданно завелись деньги, отправился на каникулы в Испанию. Евгений с сожалением оставлял этот дом. Это была уютная нора, особенно зимой. В пустом доме, конечно, стало жутковато, а в последние два дня снаружи не смолкал грохот. Сносили башню Рена. Но сегодня, слава Богу, было воскресенье.

Для всего его имущества хватило трех больших чемоданов. В одном — одежда; во втором — обернутая в полотенца посуда; в третьем — бритвенные принадлежности, приемник, шкатулка, икона, фотография Тани. Книжки в бумажных

---

[23] Примечания: 23
Вест Бермондсей — район Лондона.

обложках лежали в коробке в зале. Миссис Барлоу собиралась забрать их для общественной библиотеки. Растение вместе с подставкой уже увезли в приют на ручной тележке.

Ну вот, значит, снова в путь. Ничего не поделаешь. Из одного лагеря в другой. Он положил фотографию Тани на дно чемодана, но потом опять достал. Это была не очень удачная фотография. Сделанная в тот момент, когда Тане было очень плохо. За ее спиной виднелась стена барака. Ему хотелось вспомнить, как выглядел этот барак. Таня была призраком. Сквозь нее он видел деревянную стену. Они делили это жилище с другой семейной парой. Считалось, что им повезло. Может быть, ему повезло. В конце концов, весь мир — это всего-навсего лагерь, где есть хорошие углы и есть плохие. Углы, где ему доводилось жить, были не так уж плохи. Мир — это просто лагерь для перемещенных лиц. Несомненно лишь одно: живут в нем не вечно.

Он понимал, что был не очень добр к Тане. Она его связывала — так ему казалось. Она угасала молодой среди бедствий и неразберихи, а он не держал ее за руку, потому что был слишком занят Лео и своим собственным будущим. Он угощал посторонних сигаретами, чтобы они сидели

возле нее. Он очень жалел ее, но хотел, чтобы поскорее все прошло. Она очень страдала, но ему не хотелось разделять с ней ужас кончины. Он стал заложником собственного решения — держаться. Мать, сестра — он не пролил по ним ни единой слезы, а они были ему безгранично дороже Тани. Он был суров с Таней, а она недоумевала. Но так ли уж это важно теперь, теперь, когда она стала ничем?

Он бросил фотографию в чемодан и взял икону. Голубовато-белые ангелы были бесконечно печальны. Сколько уж длится их путь! И когда Евгения не станет, они будут идти и идти, и однажды наступит день, когда никто не сможет вспомнить, кто они и откуда. Этот путь, только он и есть. Раз нет Бога, так ли уж важно, что он не был добр к Тане? Да, чувствовал он, это важно. Но это было не более чем чувство, какая-то тяжесть внутри него. Он смел крошки с лохматой зеленой скатерти и завернул в нее икону.

Пэтти… теперь она так далеко, будто в ином времени. Он уже отвел от себя боль тоски по ней. Боль отделилась, осталась всего лишь печаль. Он любил Пэтти, потому что она была неудачницей, как и он сам. Но ее неудачливость абсолютно отличалась от его собственной. По-настоящему

понять беды друг друга они не могли. Он не мог ввести Пэтти в свое прошлое, а ведь он и был своим собственным прошлым, мрачной оболочкой вокруг драгоценного камня детских лет. Он не мог вместить Пэтти. Он никого уже не мог вместить. Конечно, он простил Пэтти, он все понял, по крайней мере, постарался понять. Но когда она вдруг уехала, ему стало легче, он решил: значит, так надо. Она сулила ему счастье, но кто знает, что ждало их впереди. Стареть — значит понимать, что счастье или печаль зависят не от обстоятельств, а от сознания. Он — прогорклый человек и никогда не сделает счастливым другого, никогда не обретет свой дом.

Ногой он нащупал под полкой какой-то предмет. Книжка. Надо пойти в зал и положить в коробку. Стараясь ступать как можно тише, он прошел через пустую кухню. Топот шагов казался чем-то неподобающим, будоражащим отзвуки, которые уже умерли. Под лестницей было темно. Он вышел на свет и вдруг остановился: кто-то был в зале. Потом он разглядел, что это — всего лишь миссис Барлоу. Он уже хотел окликнуть ее, но потом понял: она ведет себя как-то странно. Она присела на корточки у коробки с книгами, потом опустилась на пол, прижавшись головою

к коробке. Он расслышал тихое всхлипывание. Миссис Барлоу плакала.

Евгений осторожно отступил под лестницу и на цыпочках прошел через кухню. Книжку он оставил на кухонном полу. У миссис Барлоу какое-то горе. Но он не хотел ввязываться. О ком или о чем она плакала там, в пустом зале, он не знал. Миссис Барлоу всегда была для него, в сущности, посторонней, и тайна ее слез вскоре перестала его занимать. Он вновь занялся вещами. Третий чемодан был почти собран. Приемничек он уложил рядом с иконой и вокруг натолкал газет. Осталось уложить шкатулку.

Евгений взял ее в руки. И вдруг память всколыхнулась в нем. Он задохнулся, кровь бросилась в лицо. Он вспомнил… В столовой, в их загородном доме, была точно такая же шкатулка. В ней он держал сахар для своего маленького белого английского терьера. Однажды полудикие мастифы, охранявшие дом, набросились на песика и загрызли. Он помнил, как лакей принес безвольно свисающий маленький трупик. Значит, слезы, которые так таинственно навещали его, которые и сейчас наворачивались на глаза, были не о матери, не о сестре. А может, все-таки и о них? Да, он оплакивал и их и себя. Это была первая в его

жизни трагедия.